

Енисей

№ 1
2019



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№1 * Красноярский литературно-художественный
2019 и краеведческий альманах

Михаил ТАРКОВСКИЙ главный редактор

заместители
главного редактора:

Александр Ёлтышев по прозе

Сергей Кузнечихин по поэзии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр АСТРАХАНЦЕВ прозаик, член Союза
российских писателей

Леонид БЕРДНИКОВ краевед, председатель
историко-патриотического
общества «Краевед»

Иван БУЛАВА прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Марина МОСКАЛЮК доктор искусствоведения, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный институт искусств»

Михаил СЕВЕРЬЯНОВ заведующий кафедрой отечественной
истории Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
доктор исторических наук,
профессор

* Красноярск
«Ситалл»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

Редакция не вступает в переписку.
Тексты не рецензируются.

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 10.7.2019

Тираж: 500 экз.

Формат: 70×100/16

Объём: 17,55 усл. печ. л.

Отпечатано в ООО ПК «Ситалл»:
660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 14
тел.: (391) 218-05-15, www.sitall.com

ISBN 978-5-6041944-9-2

Содержание

СЛОВО РЕДАКТОРА

Михаил Тарковский
Бодайбинский десант 5

ЮБИЛЕЙ

Роман Солнцев 8
Анатолий Третьяков 14
Александр Щербаков 20

ПАМЯТЬ

Николай Гайдук
Кубок ветра и отваги 26
Сергей Лузан 30

ПРОЗА

Ольга Гуляева
Я, красивая птица... 32
Антон Андреев
*Аффект наблюдателя,
или Квантовая запутанность
сержанта Прокопчика* 88
Виктор Теплицкий
Снегопад 94
Владимир Монахов 101
Алексей Бабий
Без разницы 116
Виктор Самуйлов
Сапожки 120

Евгения Зуева

Домовой 125

Альбина Мамаева

Покова 133

ПРОЩАНИЕ

«...И не надышусь родным воздухом» 115

ПОЭЗИЯ

Владимир Богатырь 138

Игорь Бирюков 142

Дарья Лысенко 146

Ульяна Яворская 150

Анатолий Вершинский 154

Виталий Неизвестных 158

Екатерина Хиновкер 160

ДРАМАТУРГИЯ

Игорь Герман

Реакция Вассермана 162

ИСТОРИЯ

Наталья Калеменева

Война гремит на Енисее 183

КРАЕВЕДЕНИЕ

Ольга Немежикова

Зелёная весна.

Заповедник «Столбы» 191

Авторы 202

Михаил Тарковский

Бодайбинский десант

Отчёт о литературной поездке

В первом номере нашего альманаха за 2018 год опубликовано размышление главного редактора, вашего покорного слуги, о юбилее Великой Октябрьской социалистической революции. Оно было объединено с ещё одним размышлением: очерком о Ленском расстреле и поездке-возвращении в Бодайбо Иркутской области в 2018 году, спустя сорок лет, — в 1977 году мне довелось трудиться там в геологической партии (я был тогда студентом первого курса). Образ трудовой Сибири, завороживший душу после знакомства с этим краем и его людьми, сделал огромное дело и определил дальнейшую мою судьбу.

В прошлом, 2018 году я провёл две встречи: в библиотеке города Бодайбо и в библиотеке прииска Артёмовского. Директор библиотеки Бодайбо — замечательная женщина Ирина Николаевна, а в Артёме библиотекой руководит Зинаида Николаевна, которая много лет назад приехала в Ленский район из нашей с вами Дудинки. Да и осталась там... правда, знакомые слова? Будучи в Бодайбо в 2018 году, я узнал, что сюда можно доехать на машине — всего две с полтиной тысячи сибирских километров.

Неудивительно, что нынче зимой я предложил поехать в Бодайбо своим товарищам — писателям Андрею Антипину и Василию Авченко. Оба ребята молодые, ответственные — не зря отвечают за русское слово на восточных рубежах нашего Отечества. Андрей Антипин, с произведениями которого мы знакомили читателей нашего альманаха, живёт в посёлке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области. Василий Авченко, давний гость фестиваля КУБ, живёт во Владивостоке, но при этом не только родом из той же Иркутской области (город Свирск), но ещё и родился в Черемхове, в одном родильном доме с Александром Вампиловым. В общем, в середине марта мы и провели бодайбинский десант. Время — март — самое подходящее: уже и морозы не те, и день длинный, но ещё снег на дороге — резина целей, чем по каменюшнику шлёпать. Я выехал из Красноярска в Иркутск, где и забрал Василия с Андреем. А по дороге провёл встречу в библиотеке Тулуна и навестил нашего друга, охотоведа Николая Васильевича Терещенко, у которого в гостях на турбазе «Казачка Ия» не раз бывал Валентин Григорьевич Распутин. Так что с самого начала похода вектор задался и был по-настоящему напитан географией



Над Бодайбо

русской литературы — тем более 15 марта Валентину Григорьевичу исполнялось бы восемьдесят два года.

Далее, оставив с левой руки Кутулик, родной посёлок Вампилова, а с левой — Черемхово, стоящее поодаль, я въехал в Иркутск и, забрав Антипина у замечательного русского поэта Василия Васильевича Козлова, поехал с ним на квартиру не менее замечательного писателя Анатолия Григорьевича Байбородина. Хозяин нам предоставил возможность ночёвки, но сам был в эти дни в Москве, на презентации четырнадцатитомника Владимира Личутина. Как раз в это время прилетел и Василий Авченко.

Утром мы выдвинулись по Качугскому тракту из Иркутска, проехали вдоль Верхней Лены и, выбравшись на БАМ, добрались до Северо-Байкальска, где переночевали, а затем двинули до станции Таксимо, откуда ушли на Бодайбо. Там провели встречу в библиотеке, а затем нас отвезли на два предприятия золотодобывающей компании «Высочайший», находящиеся к северо-востоку от посёлка Кропоткин, в районе которого я и работал в 1977 году коллектором в составе экспедиции ЦНИГРИ. Отряд экспедиции обследовал также и голец Высочайший (река Хомолхо), где теперь стоит золотодобывающая фабрика ПАО «Высочайший», которая и пригласила нас провести встречи со своими сотрудниками. Вместе с начальником отдела по связям с общественностью Светланой Костиной и состоялась эта поездка по Бодайбинскому району. Знаменательно, что инициатором данной акции стал главный геолог ПАО «Высочайший» Вячеслав Микляев, который в 1991 году стоял у истоков издания моей первой книги «Стихотворения» (издательство «Терратек»).

Естественно, встречи с читателями, как и водится в Сибири, были хороши своей искренностью и ощущением, что мы все живём в одном пространстве и понимаем друг друга с полуслова. Особенно здорово



Подписываем книги Зинаиде Николаевне

было выступить, а потом представить аудитории своих молодых товарищей и уже быть в сторонке. И наблюдать, как слово за словом завоёвывают ребята доверие читателей, и смотреть в глаза людей, слушать их вопросы и знать, что люди эти мгновенно заметят фальшинку, позу и раздрай слова и дела. Конечно же, здесь был не тот случай.

По дороге на Высочайший мы подарили книги в библиотеках приисковых посёлков Артёмовский и Кропоткин.

На обратном пути мы заночевали в Северомуйске и познакомились с заместителем главного редактора журнала «Северо-Муйские огни» Татьяной Логиновой и её мужем. Татьяна с мужем встретили нас посреди покрытого мраком посёлка в огромном клубе, который уже три года не отапливается. Думается, что дальше можно не продолжать, и понятно, в каком состоянии находится бамовский посёлок у ворот двенадцатикилометрового Северомуйского тоннеля. Поразил подвижнический и неунывающий дух издателей журнала. Пожелаем им сил, Божьей подмоги и помощи ближних и дальних. С утра выехали в Северо-Байкальск, подарили книги в библиотеке, переночевали, а наутро разделились: Андрей поехал поездом в Усть-Кут, а мы с Василием — в Иркутск. Думаю, не надо объяснять, что поход был сильнейшим по впечатлениям и стоит более подробного очерка. Дорога по большей части была, конечно же, без асфальта и сотня за сотней вёрст проходила по восхитительным восточносибирским горным местам, самой могучей частью которых был Северо-Муйский хребет.

Роман Солнцев

(1939–2007)

* * *

В сумерки, которые сомкнутся,
а пока смещаются, летят...
как гармонь, раздвинул их закат...
В сумерки, которые сольются,
а комар всё песенку одну
тянет в золотую глубину —
в камышах, где не метнуть блесну,
озеро готовится ко сну,
тайное готовится ко сну.

Среди сосен тёмных и огромных,
незаметное, скромнее скромных,
узкое, глубокое легло.
Ты раскинешь руки, весь вниманье,
и его ты ощутишь дыханье:
над кустом тепло, здесь — не тепло...

Дышит... Вдруг, как красный шар воздушный,
выскочит луна у самых ног!
И лягушек хор звенящий, душный
грянул — и умолк!..

Мыши здесь летучие промчатся.
Щука щёлкнет. Вспыхнет Водолей.
И наверно, может показаться —
нет на свете озера главней!

Днём же ты его едва заметишь
в камышах, среди ряски и цветов,
на коне, забывшись, вброд проедешь
среди белых солнечных столбов.

Но земное влажное светило
всё ж поймает твой смущённый взгляд,
словно женщина, с которой было
что-то у тебя сто лет назад...

АВТОБИОГРАФИЯ

Романтик был, простого норова...

Родня мне: русичи, татаре...

Сгорел, как верный пёс, которого
не отцепили при пожаре.

* * *

Не я ль уже терял надежды,
разуверялся — и навек?
Что ж белые ищущей одежды
и берега молочных рек?
Зачем спешу опять на митинг,
листочек клею на стене?
О, с неба, ангелы, взгляните:
не пламя на моей спине?
Откуда ж снова страсти эти,
мечта седая, как болезнь,—
по справедливости всем вместе
в ушко игольное пролезть?..

* * *

Спасибо блещущей ветле,
спасибо озеру живому,
спасибо книге на столе,
и тени, мчащейся по дому,
и в небе облаку — оно
напомнило мне милой облик:
смотрела в зимнее окно,
когда, услышав тихий оклик,
я обернулся — смутный свет
мерцал и узкая ладошка,
и я ушёл на много лет;
спасибо, и трава, и кошка,
и тело медное змеи,
и лошадь над ночной рекою...
вы все свидетели мои —
вы видели её со мною...

* * *

Каждый раз, далеко уезжая,
вижу: ты замерла за окном.
Если ночью — то, свет выключая,
ты прощаешься с милым дружком.
Если днём — зажигаешь нарочно,
чтоб я видел тот нимб над тобой.
Как на свете всё горько, непрочно,
и не знаешь поры роковой...

Если будет последним прощанье
в час вечерний, ночной... Боже мой,
что я вспомню?... родное дыханье,
звёздный крест над больною страной.
А при солнце случится прощанье —
я, скитаясь в пустом мирозданье,
вспомню лампочки над головой —
ты мне будешь моею святой.

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Горит свеча.— Ты где ходил?
— Я уходил далёко.
— Ты где летал? Кого любил?
— Да, я летал высоко.
Но нет прекраснее тебя,
и ни к чему нам свечка...
— А я тебя ждала, скорбя,
и продала колечко...
— Да как ты смела, как могла?
Иль я тебе не нужен?
— Колечко я в ломбард снесла,
чтоб ждал тебя твой ужин.
Вот пей багряное вино,
ешь розовое мясо.
Вот спать ложись, уже темно,
постель моя не смята...
— А что же ты сама пила?
— Пила вино из речки.
— А как же ты сама жила?
— Сидела на крылечке.
— Но почему ж я постарел,
а ты не постарела?
— Ты на плохих людей смотрел,
я на тебя смотрела...

* * *

Любимая, в мой век аэродромов,
церквей, лабораторий, ипподромов,
среди рёва оглушающего, свиста,
когда пыльца над лугом не плывёт,
а только сапожок лихого твиста
ромашку растирает, как плевок...

Любимая, в мой грустный век радаров,
когда в лесах отравлены грибы,
любимая, в мой жёлтый век пожаров,
встающих жеребцами на дыбы...

В ещё не названное время суток,
когда дремотно кружит полусумрак,
дай посижу я у тебя в гостях...
Транзистор выключи. Огня не надо.
Лицо твоё светлеет где-то рядом.
Мы посидим. Мы молча. Просто так.

Привидятся мне странные картины
в мой век модерна, шифров, шелухи:
тропинки детства, алые долины,
зелёные, как листья, петухи...

В ещё не названное время суток,
когда дремотно кружит полусумрак,
дай полчаса, дай погрузу немножко
у твоего лица, как у окошка...

* * *

...Я вспоминаю тёмный лог,
где вьётся светлая речушка,
и вся в траве стоит избушка,
в ней соль и спичек коробок...

...и даже нет, не весь тот дом —
его оконца уголочек,
стекла отпавшего кусочек,
где тянет зябким сквознячком...

...среди суеты, среди духоты
меня врачует малость эта —
тот треугольник темноты,
волшебный треугольник света...

РАБОТА

Неужели впустую все муки мои,
эти бури и эти печали?
Неужели напрасно ладошки твои
мою голову нежно сжимали?
Сад шумел, и ночная летела вода,
в небе молния грозно сияла...
Неужели напрасно меня ты тогда
в мой измученный лоб целовала?
Неужели впустую перо и листы,
что заполнены были словами,—
и остался весь мир неизменным, и ты
зря стояла молчком за дверями?
Я себя не жалел, ради мысли сжигал,
ради веры, высокой и гордой.
Неужели напрасно я жизнь прошагал
по одной половице нетвёрдой?
Неужели напрасно, родная, с тобой
мы не виделись долгие годы,
что могли провести под цветущей листвой,
глядя ласково в сонные воды?..



Боже мой! Как быстро пролетела
ласточка над головой моей...
Вся полынь у дома стала белой,
стал чернее вара Енисей...
Боже мой! Как быстро прокричали
мы свои заветные слова...
Снег метёт, безлюдно на причале,
кот бездомный замер, как сова.
Боже мой! Как быстро повернулось
розовое солнце на закат.
Если б этих милых длинных улиц
я не покидал сто лет назад!
Не спасут отныне, как бывало,
ни дела, ни с горьким зельем связь...
Боже мой, как быстро просияла...
Боже мой, как быстро пронеслась...

* * *

Прощанье близится, всему назначен срок...
Как жить? Что делать? Я бреду вечерним лугом,
слежу, как коршун в небе чертит круг за кругом,
смотрю, как заяц откусил, смеясь, цветок.
Я вижу бабочку — я наступить бы мог,
но прочь согнал... и есть теперь надежда эта:
золотокрылая запомнит в ливне света
хотя б на час меня и лёгкий мой сапог...

* * *

Выпустили рыбку золотую
из аквариума — в быстрину.
Я стою и с берега колдую:
что ж ты, рыбка, словно как в плену?

Плавает недалёкими кругами,
хоть и нет вокруг неё стекла.
Шевельнула малость плавниками —
как уткнулась — в сторону пошла!

Я взмахнул руками — заблестела,
взад-вперёд, налево и назад,
покрывая вихрем то и дело
тот несуществующий квадрат!

Можно все аквариумы грохнуть
так, что искры свистнут по земле.
Только даже в синем море плохо
тем, кто жил когда-нибудь в стекле.

Как разбить не этот вот невзрачный
пыльный ящик, а вон тот, другой,
тот несуществующий, прозрачный,
страшный ящик в толще водяной?..

Анатолий Третьяков

(1939–2019)

Анатолию Ивановичу Третьякову 8 марта исполнилось 80 лет. По просьбе редакции поэт подготовил подборку своих стихов, но не дожил до выхода альманаха, скончавшись 15 мая.

ПАМЯТЬ РЕЧНИКА

Забуть о прошлом мне нельзя —

Оно дороже год от года.

Шумят в машинном дизеля,

Винты отбрасывают воду.

Течёт могучий Енисей —

Ещё плотиной не зажатый,

А утром вновь во всей красе

Выходит на берег сохатый.

Он реку смело одолел.

Ушёл, наверно, от медведя.

А Енисей не обмелел —

Ещё губить природу медлим.

В низовьях волны вновь кипят,

Суда встречаются морские.

И чайки за кормой галдят.

Что моряки, что речники им?

Не видят разницы они,

Ну разве что корабль меньше...

Полярные не гаснут дни,

А вот под вечер шторм обещан!

И тут команде не до сна —

И на ветру холодном жарко!

Наш груз — ангарская сосна.

Наш караван спешит в Игарку.

Я это время не забыл,

Оно теперь мне — золотое!

Опять укачивает зыбь.

И память не даёт покоя.

ТАЁЖНАЯ РЕКА

Куда стремишься ты, вода?
Ведь в море сгинешь без следа!
И там, во глубине солёной,
Не будет берегов зелёных,
Ни скал, ни вековой тайги...
В глубинах не видать ни зги!
В реке вода сверкнёт зеркально,
Где будет небо с облаками,
И города, и сёла в ней
(Лишь в перекатах дно видней).
Мальки снуют на мелководье.
Спешить реке не надо вроде,
Но день и ночь бежит она,
Как к берегу её волна.
Люблю с рожденья реку эту
(Здесь каждый может стать поэтом).
И пусть течёт ещё века
Моя таёжная река!

ВЕСТОВАЯ ПУШКА

Ударит пушка вестовая.
И тут же свора легковых
Враз засигналит, вызывая
Хозяев бдительных своих.

Вначале было непривычно
И возникала суета.
Любому дорог транспорт личный —
Осуществлённая мечта!

Часовня древняя на взгорье —
Несли там службу казаки.
А Енисей стремился к морю,
И краше не было реки!

Но чутко спали красноярцы:
Набегов ждали каждый час.
Нам нынче некого бояться —
Теперь пускай боятся нас!

Ударит пушка вестовая,
Снарядом грохнет холостым,
Сигналы снова завывают,
А нам пора сверять часы.

ЩЕНКИ

По утрам ещё стоит собачий холод,
Но тепло на войлоке щенкам.
И уж точно не грозит им голод —
Всем в сосцах хватает молока.

Но один мешает спать соседям,
Хоть он, безусловно, брат родной.
Видимо, родился непоседой —
Потому и был замечен мной.

Словно он собрался на охоту
И ему совсем не место здесь.
Но пока что просто нету ходу —
Через мамин хвост не перелезть.

Вырастет он мощным и красивым.
Быть ему у лаек вожаком.
А сейчас он выглядит плаксивым
И капризным маленьким щенком.

Я желаю всем щенкам удачи
И ещё желаю от души,
Чтоб хозяин полюбил собачек,
Раздавать бы лаек не спешил.

МОЛОКО

Ну что сказать? Мы трудно жили.
Ну а кому жилось легко?
Коровок матери доили,
А мы сдавали молоко.

Так из ведра попить хотелось!
Но был учёт довольно строг:
Не сдашь — тогда за это дело
Легко впясть могли бы срок!

Былых страданий отголоски
Вернутся вдруг издалека...
И прав мультяшный кот Матроскин:
«Какая жизнь без молока?»

* * *

Как зарядит буран —
да порой на неделю!
Во дворах вырастают
сугробы до крыш.
В это время на улице
нечего делать —
Потому и на печке,
скучая, сидишь.
А под печкою
сонно кудахтают куры.
Утром темень,
но вдруг загорланит петух,
Словно бы по приказу
управленья культуры,
Да сверчок повторяет
снова соло на слух.
В утонувшей в сугробах
сибирской заимке
Как хотел бы я вновь
оказаться сейчас,
Задремать под тулупом
с котёнком в обнимку
(Говорят, кошка лечит
не хуже врача).
Но болезнь у меня
неподвластна и кошкам.
Ностальгия по детству —
неужели недуг?
Просыпаюсь порой
с настроением хорошим,
Если снова заимка
приснится мне вдруг.

* * *

В тайге, на берегу реки,
Деревня в соснах — словно пленница.
Здесь срубам стоят поленницы,
И чинят сети рыбаки.
С мотором на плече мужик
Уходит по крутой тропинке.
В окошке школьник без запинки
Стихи читает... и кружит
Скопа над беспокойным плёсом.
Не утихает мошкара.
Здесь в накомарниках с утра
Плывут на лодках на покосы.
И так давно знаком он мне —
Привычный быт в деревне этой:
Она готовится всё лето
К суровой северной зиме.
Пока что летняя жара,
И солнце с неба долго сходит.
Гудят друг другу теплоходы,
Идут с плотами катера.
И облака легки, как пух,
И нет тайге конца и края!
И над селением витает
Глухой тайги смолистый дух.

ЛЮБОВЬ И МАРКСИЗМ

Печь трещала сухими поленьями.
Шло тепло от берёзовых дров.
Не читал я ни Маркса, ни Ленина —
К философии не был готов.

Я в девицу сибирскую втюрился,
Об интимных свиданьях мечтал.
Не знакомился я с «Анти-Дюрингом»
И не смог одолеть «Капитал».

Но романы я за ночь прочитывал
(Даже помню Тургенева «Новь»)
А марксизм-ленинизм не учитывал,
Не поддерживал нашу любовь.

На такого, как я, поглядите-ка!
И, конечно, мог каждый понять:
Ни с какой я не знался политикой,
Дела нет до неё у меня!

А вот Маша соседская — это...
(Но из скромности я промолчу.)
С ней однажды проснулся поэтом
И о том не жалею ничуть.

МИНУТА

Ну что она стоит, минута?
Хотя и длиннее, чем миг.
Её не хватило кому-то —
Попробуй минуту займи!

Такого не может случиться,
Подарков не дарят таких.
А время всё мчится и мчится
Быстрее жокеев лихих.

Куда убегают минуты?
(Нас всех и последняя ждёт.)
Уж прошлое видится смутно.
Куда нас судьба заведёт?

Об этом мы знаем немного —
Да много и знать не дано.
Вновь вечер. И снова с тревогой
Смотрю я на звёзды в окно.

Они друг на друга похожи.
И что им вечерняя мгла?
Минута счастливая всё же
У каждого в жизни была.

Александр Щербаков

СВЯТЫЕ СТАРУХИ

Среди нищеты и разрухи,
Дурниной заросших полей
Живут по деревням старухи,
Душою послушниц светлей.

Спокойные, ясные лица
Не ожесточились в трудах.
Таких не бывает в столицах
И прочих шальных городах.

А как их тяжёлые руки
Нежны, и теплы, и добры,
Доподлинно ведают внуки,
Льняные ребячьи вихры.

Телята, ягнята и гуси,
Наверно бы, тоже могли
Поведать о том, как бабуси
Их чутко пасли. И спасли.

Да что там телячий с гусиным
И всех братьев меньших роды —
Те бабушки нашу Россию
Спасали не раз от беды!

И нынче на них уповаю.
Восстанет страна, как трава,
Основа её корневая
Ещё, слава Богу, жива.

Я верую в эту основу
И мысли заветной держусь,
Что будет по вешему слову:
«Спасётся платочками Русь».

Хочу домой

Опять зелёно-голубое лето
Цветёт, поёт, стрекочет и жужжит.
И мне опять до полночи с рассвета
Зов дома не даёт спокойно жить.

Тот зов внутри. И никуда не деться,
Не убежать, не скрыться от него.
Хочу домой, хочу на тропы детства,
Хочу к порогу дома своего.

Зачем я рвусь в края, мне дорогие,
Зачем лечу на зов родной земли?
В моём доме давно живут другие,
Давно мои тропинки заросли...

Безрукому порою жжёт ладони.
Слепому снится белый-белый свет.
А у меня душа болит о доме.
Хочу домой...

Но дома больше нет.

СВЕТ РОДИНЫ

Полный света, сияния, блеска —
Лучезарный весенний восход
Всё мне видится над перелеском,
Упивавшимся в наш огород.

Не бывает чудесней видений...
Столько лет пролетело и зим,
Но мне памятен свет тот весенний,
Всё люблюсь я мысленно им.

Его отблеском дальним согретый,
Ныне исподволь осознаю:
Это ясным и радостным светом
Светит родина в душу мою.

И до вечного пусть до покоя
Озаряет мне думы и сны,
Ибо в жизни не знал ничего я
Ярче той лучезарной весны.

БЛАГОДАРЕНИЕ СЕЛУ

А мне после горькой утраты,
Неправой молвы и суда
Иной не бывало отрады,
Как вновь возвращаться сюда,

Где столько простора, и света,
И вечной лесной тишины.
Все люди видны и предметы,
И все отголоски слышны.

Отсюда все наши интриги
Казались мелки и пусты,
Как наши бескрылые книги,
Бескровные наши холсты.

Здесь пела мне песни овсянка
На чистом родном языке,
И был я для всех просто Санька,
Который свихнут на стишке.

Не видел я сельских идиллий,
Но всё же был счастлив вполне.
Меня если люди судили,
То с явным сочувствием мне.

Мол, слишком неловкий и гордый,
И чин потому небольшой.
Носился как с писаной торбой
Всю жизнь со своею душой.

ТИШИНА

Нет в голове заветных слов,
И лишних денег нет в кармане...
Ленив, как дедушка Крылов,
Лежу часами на диване.

И кот — отнюдь не «в сапогах», —
Мне подражая, не иначе,
Лежмя лежит в моих ногах,
О чём-то грезя о кошачьем.

Кругом такая тишина,
Что возникает мысль простая:
Вот так лежит и вся страна,
О рае рыночном мечтая.

МАТЕРИ

За кладбищенской рощей туманы.
Над кладбищенской рощей дожди...
Ты прости, ты прости меня, мама,
Я приду, только ты подожди.

Закрутили меня, завертели,
Замотали земные дела.
И давно уже, как от метели,
Голова моя стала бела.

Но заботам поставлю я точку.
С батожком и сумой на весу
Ушагаю домой — и цветочки
На могилку твою принесу...

Не однажды мне виделось это.
Наконец я в родимом краю
На исходе Господнего лета
Перед холмиком горьким стою.

Чёрный крест, домокованный, грубый,
И берёза — как свет в небеса.
Затряслись стариковские губы,
Затуманились влагой глаза.

То ль в кладбищенской роще туманно,
То ль в кладбищенской роще дождит?
Я пришёл... Я вернусь к тебе, мама,
Навсегда... только ты подожди.

Июнь

Снова он ясный и знойный,
С гомоном птиц поутру,
С росами, с запахом хвойным
В гулком хрустальном бору.

Слушаю светлый и грустный
Голос кукушки опять,
Но сколько лет мне отпустит —
Не тороплюсь загадать.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

Очнулся Пушкин, слыша голоса.
Пробило два. Подрагивали гири.
И жить всего три четверти часа
Ему осталось в грозном этом мире.

Печален, бледен и почти без сил,
Взгляд обратив к промёрзшему окошку,
Он перед смертью тихо попросил,
Чтоб принесли мочёную морошку.

И, пряча слёзы, Натали вошла,
Присела с блюдцем к изголовью молча
И ложечкой дрожащей поднесла
К его устам целебные комочки.

Что вспомнил он?
Должно быть, отчий лес,
Михайловский, с болотцами и пнями,
И солнечную ягоду тех мест,
Которою его лечила няня...

Он слышал, как душа кровоточит,
Он знал — не исцелит смертельной раны,
Но всё же этой ягодой янтарной
Страдания немного облегчит.

ЗАВЕТНЫЕ СТРОЧКИ

Зверопаственных мест уроженец,
Старовер, старожил, русофил,
Видно, я в этот мир приходил
Для словесных его отражений.

А иначе зачем, как в жару,
Я метался в бессонные ночи,
Тщась поймать ту заветную строчку,
Что красна, словно смерть на миру?

Не всегда удавался отлов,
Но зато я не слыл браконьером,
Почитая законы и меру
При добыче единственных слов,

У которых особенный вес
И подъёмной достаточно силы,
Чтоб по всей разлететься России
От моих зверопаственных мест.

ЧУДНЫЙ МАЙ

Холод, ветер, дождь со снегом —
Вот он, этот чудный май,
Что поэты век за веком
Славословили как рай.

И грозу в начале мая,
И цветы, и соловья...
Только не припоминаю
Ничего такого я.

Грязь в саду. Стою с лопатой.
Утром солнце, к полдню град.
Сыплет сизый, конопатый
Май ледовый виноград.

Столько дней мы ждали лета!
Май пробил, а лета нет.
«Что-то с матушкой-планетой», —
Под усы ворчит сосед.

Но Земля всё та же вроде,
И всё так же, вопреки
Вечной майской непогоде,
Ждут тепла сибиряки.

Май за лето принимай,
Только шубу не снимай.

Николай Гайдук

Кубок ветра и отваги

«Был!» — это короткое слово раскатилось, как выстрел, по Крайнему Северу, где легендарного бродягу и поэта Сергея Лузана почти в буквальном смысле знала каждая собака. А он любил их, братьев наших меньших. «Они, — говорил Серёга, — не предают!» Кудрявый, красивый, отважный и дерзкий, иногда он из тундры прилетал со своею любимую голубоглазенькой Лайкой и вместе с нею фланировал по Норильску, подшофе заявляясь то в редакцию газеты, то на радио, то на телестудию.

И везде, везде, где Лузан появлялся, начиналось нечто вроде некалендарного праздника — уж такой это был человек, типично русский, широкий, щедрый на поступок и на слово. У него было редкое, потрясающе редкое чувство справедливости, чести и достоинства. Из-за этого, кстати сказать, Лузан и оказался в Заполярье.

Родившийся в Благовещенске Амурской области (1946 год), Серёга несколько лет батрачил моряком на Камчатке, на Сахалине (1968–1971 годы). Ах, какое же славное времечко было на циферблате истории: перед Лузаном нарастапаху открывали «двери» даже заграничные порты — Лиссабон и Марсель, и что там ещё, я не знаю. Серёга — романтик по натуре и поэт — был безгранично влюблён в корабли, в моря и океаны и во всё другое, что связано с нелёгким делом моряка. Но пламенное чувство справедливости оказалось сильнее, и Серёга однажды взорвался на корабле — «отретушировал» физиономию то ли капитану, то ли боцману. Корабельная «шишка» какая-то обнаглела, пользуясь тем, что моряки всё стерпят, промолчат. А Серёга не стерпел и потому одномахом был списан на берег.

Настроение, как сам он рассказывал, было такое весёлое — хоть топись. И тут ему кто-то шепнул насчёт Заполярья и солнечно-курортного города Норильска. И Серёга, ничтоже сумняшеся, помчался туда. И без ума, без памяти влюбился в тундру, бескрайностью своею синей очень похожую на океан. И стал он охотником — первоклассным профессионалом. Правда, не сразу. Сначала он увлёкся журналистикой, где добился отличных успехов: международная премия журналистов — 1979 год, Болгария; премия радиожурналистов — 1981 год, Китай. А вслед за журналистикой, где он разогрел своё перо, потекли рассказы, тоже не оставшиеся незамеченными: премия имени Огдо Аксёновой «Вдохновение» — 1990 год, Норильск. И т. д. и т. п.

Оказавшись на Крайнем Севере, он пешкодралом исходил весь Таймыр — от эвенкийской тайги до побережья Ледовитого океана. Но, кроме этой северной романтики, он полной грудью хлебнул ещё и то, что наш брат-писатель чаще всего «стесняется» даже пригубить, — он был проходчиком, едва ли не стахановцем, на кошмарных, на каторгу похожих норильских рудниках.

Человек оригинального характера и необычайного поступка, он писал характерную прозу — короткую, ёмкую, хватающую читателя за грудки или за воротник: невозможно отвлечься. Меня его проза привлекала всегда глубиной и объёмностью: на пяти-семи страницах умещалось то, что другой мог бы разлить и разбодяжить на пятидесяти. Но прежде всего привлекало и удивляло то, что рассказы его не высосаны из пальца — сквозь бумагу всегда проступали своеобразные «водяные знаки» Лузана: просвечивали живые люди, имена, истинные судьбы и вполне конкретные сюжеты.

Северянин Юрий Бариев когда-то коротко и точно сказал: «Сергей Лузан — бешено талантливый человек, делающий всё в жизни со страстью...»

И жалко, очень жалко, что Лузан, как это нередко бывает среди русских художников, небрежно относился к своему таланту: рукописи, порою испятнанные винцом, нередко валялись то на подоконниках, то под столом. Глядя, как Серёга ведёт себя в жизни и в творчестве, я неоднократно убеждался: не зря и не случайно этот Лузан, когда жил и учился в Москве, был ярким представителем оригинального общества СМОГ — Самое Молодое Общество Гениев. Он, кажется, меньше думал о своей литературной судьбе, нежели о судьбах своих друзей-товарищей по литературе. И доказательством тому — книга рассказов под названием «Стая». В 2001 году эта книга вышла при финансовой поддержке профсоюза металлургов Норильска. А если точнее — при поддержке Виктора Быстрякова, лидера профсоюзов. Лузан тогда сдружился с Быстряковым — если не наоборот, но суть не в этом. Лузан в то время имел возможность спокойненько издать свою собственную книгу — солидную, пузатую. Но в том-то и дело, что он до конца своих дней оставался человеком артельным — за литературную артель душа болела. И потому Серёга придумал сборник «Стая», куда вошли молодые тогда ещё литераторы Заполярья. Этот сборник, в общем-то, и подружил меня с Лузаном, хотя знакомы были мы давно — с середины восьмидесятых годов, когда я впервые прилетел в Заполярье. К сборнику «Стая» написал я предисловие, потом с этой книгой мне суждено было оказаться в Норильске, там состоялась презентация, и... И, в конце концов, я сам стал северянином почти на пять лет. И произошло это во многом благодаря неуёмной энергии Сергея Лузана.

Матёрый тундровик, он зачастую пропадал в тундровых просторах, но всё же «в люди» выходил время от времени. И я неоднократно

наблюдал, как тепло и даже почти по-родственному встречали его в самых различных кругах — среди литераторов, среди художников, среди лётчиков, рыбаков и простых сермяжных работяг. И всегда и везде он был свой, что называется, в доску. И везде — как будто дома у себя.

Вспоминаю, как мы с ним на вертолёте однажды — планировали только на денёк — забурились в такую тмутаракань, где пришлось нам в зимовье куковать несколько суток: непогодица держала на приколе. Меня это жутко нервировало, а Серёга только усмехался. «Я умею ждать!» — сказал он. И это правда. И это, как я понимаю теперь, от крепости характера, от несуетности сердца и души.

Неординарный характер Лузана проявлялся и на Большой земле, когда, например, он заведовал красным чумом в посёлке Усть-Порт (1971–1975 годы). Или когда он работал редактором телекомпании «Норильск» (1995 год). Но всё-таки прежде всего характер его в полный рост поднимался в тундре, в диких, порою нечеловеческих условиях Крайнего Севера.

Вот картинка для примера. Зима, температура присела — ниже пятидесяти. Две тяжёлых танкетки хотели через реку проскочить по льду. Одна успела, а вторая почти на середине обломилась в полынью — залегла на глубине четыре с половиной метра. Никто из людей, слава Богу, не пострадал. Но танкетка, мать её! Как теперь достать? Водолазов вызывать — так это нереально. Хотя водолазу там работы на пять минут — только и нужно-то нырнуть и трос зацепить. А случилась эта закавыка неподалёку от зимовья, где Лузан в ту пору зимогорил. Мужики пришли к нему и рассказали, что да как. И Серёга тогда, по привычке своей кулаком пристукнув по столу, сказал: «Короче! Наливайте водки два стакана!» Ему налили. Серёга дербалызнул, разделся до трусов, верёвкой себя опоясал, чтобы ненароком под лёд не затянуло. «В зубы» взял стальной кручёный трос и нырнул в такую кошмарную водичку, в которой даже медведь заполярный зубами застучал бы от холодрыги. И через несколько минут танкетку вытащили. И вот таких сюжетов, связанных с характером Лузана, — целый воз и малая тележка. Вот такой он был отчаюга.

Рискованный характер Лузана нередко доводил его почти до погибельного края — за ним, за охотником, даже кое-кто охотился в заполярной тундре. Его просто-напросто угрохать хотели, потому что Серёга, не разбирая чинов и регалий, довольно-таки жёстко наказывал браконьеров. И одна такая «вёселая» история чуть не закончилась выстрелом в спину Лузана. Историю эту Серёга рассказал мне в Норильске, в Доме писателей — в Доме, кстати сказать, который был отвоёван у местных чиновников и широкошумно, торжественно открыт только лишь благодаря «термоядерной» энергии Лузана. (С 2000-го до 2005 года он был председателем Таймырского

регионального отделения Союза писателей, членом правления Союза российских писателей.)

Так вот, когда он рассказал мне, как за ним охотились по тундре, а рассказчик-то он был красноречивый, я спросил: «Так что же ты об этом не напишешь?» И Серёга, жизнерадостно сверкая глазами, как это только он умел, откровенно ответил: «Я в этой истории не смогу быть объективным. Если хочешь — я тебе дарю сюжет». И через несколько лет Серёга Лузан стал прототипом главного героя моего романа «Царь-Север». А ещё через несколько лет наступила пора нам прощаться с Заполярьем. Серёга уехал в древнерусский Изборск — это Псковская область, там у него была приготовлена «тихая пристань». Хотя и там Серёга не мог затихариться, не сидел на месте — завёл знакомство с В. Я. Курбатовым, мотался в Питер, где после Крайнего Севера поселился бывший профсоюзный лидер Виктор Быстряков, тоже человек артельный, до последнего дня постоянно державший руку «на пульсе» Лузана.

Благодаря Быстрякову два года назад до Серёги дошёл вот этот мой текст, который написал я, собираясь открыть новую рубрику под названием «Скажи сейчас». Заметка называлась — «Символ Севера».

Для меня символ Севера — Серёга Лузан. Невозможно себе вообразить, сколько силы, огня и энергии скопилось в одном человеке — и это Серёга Лузан. Врун, болтун и хохотун, поэт и фантазёр — всё это про него. И тут же про него — надёжность, верность, братство и обжигающее чувство справедливости. Я не видел человека, более резкого на проявление фальши. Я не видел человека, более подходящего под понятие «человек Севера». Стужа, зной — всё побоку. Это — Серёга Лузан. Это фантастическое сияние любви в его глазах, сияние, которое может обернуться вспышкой гнева, если кто-то заслужил. Но более того — сияние любви. Это — Лузан. Это редкость. Они, Лузаны, уже на Севере практически не водятся. И это грустно. Живи, Серёга. Живи и радуй!

Сергей Лузан

(1946–2018)

Стихи из книги «Кубок ветра»

ОРИОН

Я уже на ладони свои не смотрю.
Онемели они на холодном ветру.
Я стараюсь уже не смотреть на людей —
Охамели они от дурацких идей.
Я смотрю, как мерцает в снегах Орион.
В этом долгом мерцании — мудрый закон.
В каждой ночи таится движенье зари.
И мерцают под звёздами мысли мои.
Почему людям страшно и стыдно уметь
Явно чувствовать, как приближается смерть,
Видеть то, что кружит она недалеко?..
Это нужно! Становится думать легко.
И тогда сквозь ничтожество и суету
Будет просто идти, словно сквозь темноту.

УТРО ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

На востоке осколок лазури
Задевает полярную мглу.
Воздух выдула долгая вьюга.
Надышаться никак не могу.
Над сугробами серого века
Покосился обугленный крест.
Докурю на ветру сигарету
Из подмоченной пачки невест.
Сколько можно кайлить и бурлачить,
Вечной лямкой натруживать горб?!
Как муку из последней заначки,
Замесили Таймырский Бугор.
Звезды сыпятся в след росомахи.
На востоке зародыш зари.
Ночь уходит. Слегка проступают
На висках мужиков январь.

ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ

Снег жёстче стал. Вчера был нежным.
Тянул весь день юго-восток.
Причин и следствий неизбежных
Я в Свитке прочитать не смог.
Но иногда в минутах мятых,
Минуя правила игры,
Я вижу, как втекают в атом
Обломки судеб и миры.
И там, где нет определенья,
Не отформован крик в слова,
Уже клубится чей-то гений,
С пелёнок выползший едва.
Ноябрьский, на пологих сопках
Стал жёстким и свистящим снег.
Из неба вымерзают соки.
Блуждает ночью зыбкий свет.
На широте земли условной,
На долготе условных дней
След замечает ветер тёмный,
След на тропе судьбы моей.

Ольга Гуляева

Я, красивая птица...

*Посвящается Гуляевой Наталье Ивановне**Персонажи вымышлены**Совпадения случайны*

Я

ГЛАВА I

Какие запахи маскируют женщины, когда льют на себя то, что под видом духов продаётся в «Л'Этуале»? Этого я никогда не узнаю. Замакировавшись, женщины лезут в автобус, ходят по магазинам, идут в гости, идут на приём к гадалкам, в оперный театр, на работу, идут к своим мужчинам, которые приходят к ним от случая к случаю, но не женятся. Запахи сладкие, пряные, запахи туалета в самолёте, химические запахи несуществующих цветов, разновидности сочинённого чьим-то больным воображением морского бриза — они пропитывают салон автобуса, впитываются в мою одежду, в мой нос, в мою голову. Если я еду со спутником — спрашиваю его громко:

— Зачем они это делают? Это же, — говорю, — неприятные запахи. Что они ими перебивают? Тлен? Но есть ведь просто мыло, есть дезодоранты. Зачем им ещё и это? Гренуйка бы получил стресс, — говорю я, — Гренуйка убивал бы просто так, не во имя красоты.

Или думаю так, если еду в автобусе без спутника.

Я знаю, зачем они это делают. Они метят территорию, они выживают меня из автобуса, они террористки, они захватили автобус, думаю я. Поездка в автобусе длится бесконечно, я не вижу в них личностей, я вижу в них угрозу, я желаю их бить, чтобы поняли: не надо делать мне некомфортно, они же не только на себя льют своё химоружие, они на меня его льют. Если бы я закурила в салоне автобуса — о, они бы ополчились на меня коллективно, они бы порицали и, возможно, убили бы меня, не будь заповеди «не убий» и законодательства, согласно которому нельзя убивать, и если они меня убьют, они не увидят своих близких, тех, которых ещё не успели распугать, несколько ближайших лет. И вообще — незачем им из-за меня жизнь себе портить. Лучше не замечать меня, лучше отгородиться от меня шлейфом благоухания, лучше защитить себя бронёй благоухания от всяких отношений, от всего, что может принести боль в их такую важную, такую значимую жизнь.

А вот я бы убивать их не стала. Просто била бы и материла, пока не поняли бы они, что травить меня — это плохо. Но я должна быть безоценочной, нет же добра и зла, нет граней добра и зла, есть свобода выбора, и эти женщины пользуются своей свободой так, как умеют.

Я, наверное, не умею: желание бить пропадает ровно на тот момент, когда покидаю салон автобуса, или чуть позже, когда запахи, успевшие впитаться в одежду, начинают выветриваться.

Раньше я ходила в гости к приятелям; хорошая пара. Она, моя школьная подруга, готовит специально к приходу гостей; знает, что не ем свинину, тем не менее специально для меня готовит свинину. Свинина, запекаясь в духовке, пахнет, тлен маскируется луком. Они берут свинину подешевле, но ничуть не хуже, чем дорогая. Она кладёт в свинину много лука, чтобы было не хуже, чем дорогая, кладёт много майонеза и пряности. Свинья сначала бежит, потом её убивают. Я слабо себе представляю, как можно убить свинью, я никогда не видела, как убивают свинью; но её убивают, потом тушу везут на склад, там она лежит в тепле несколько дней, рядом с другими тушами свиней, потом её разделяют, замораживают и снова везут, уже на другой склад, где она лежит год, пока не подешевеет. Моя школьная подруга, улыбаясь, подаёт свинину с луком, украшенную зеленью; подруга уверена, что свинина, ничуть не хуже, чем дорогая свинина, — благо. Благо для неё, а значит, благо и для меня. Моя школьная подруга хорошо готовит, я кусаю термически обработанную плоть, беру много лука, пропитанного запахом плоти, жую, улыбаюсь: да, ты изумительная хозяйка, подруга. Нет, мне не жаль убиенную свинью — живых надо жалеть; я жалею себя, улыбаюсь, жую. Я толерантна, нет добра и зла, тем более — религиозных предрассудков. Свинину надо съесть всю, будет хорошо, если попрошу добавки. Хочешь пить вино с друзьями — жри свинину. Жри салатик с чипсами под майонезом — хозяйка старалась, хорошая хозяйка. Её дом — её правила. Ржавый бункер — моя свобода. Улыбаюсь. Можно сказать, что лечусь — от гонимости, от паранойи, но тогда школьная подруга будет считать меня неполноценной, а с неполноценными нельзя нормально общаться. Да мы с ней уже год не общаемся: я неполноценная — я нашла кота, позвонила ей, спросила, не надо ли кота, у них ведь умер кот, место освободилось, может, нужен кот. Подруга рассказала про всех котиков, которые у них были, про котиков, что были у соседей, и сказала: — Нет, не надо, я ещё не готова, а если буду брать — то котёнок от домашней кошки. А ты, — сказала подруга, — посади его в коробку и отнеси в школу, поставь на крыльцо, его там заберут.

Дело было на Крещение Господне, девятнадцатого января.

— Ой, ладно, — сказала я, — буду других обзванивать.

Через три дня подруга позвонила, выдала текст, заранее подготовленный, понятно было.

— Ты обиделась? — спросила подруга.

— В смысле? — спросила я.

Я уже забыла про разговор с ней: смысл помнить нерезультативное? Психика его затирает, отправляет в специальные отделы памяти; нерезультативное — момент неудачи, зачем моей психике об этом помнить?

— Ну за кота обиделась? — спросила подруга.

— Нет, — сказала я, — не ты же его выкинула в мороз.

— Так я и знала, — продолжила подруга заготовленную речь. — Как можно из-за кота на человека обижаться?

«На человека» — выделила эту фразу голосом, будто бы репетировала её, как я репетирую стишки перед зеркалом. И положила трубку. И не звонила никогда больше. Из-за кота человеку не звонила («человеку» — выделено голосом). А кота забрала женщина, у которой тоже кот до этого умер, и она ещё больше была не готова. У кота оказались глисты и анальная трещина, ну и сам кот оказался не венцом творения, но добрым не венцом. Анальную трещину женщина ему вылечила, глистов вывела, живут они с котом душа в душу. Назвала она его, конечно, дебильно, зато любит.

Я строю идеальный мир; нет, идеального мира не бывает, я пытаюсь уравновесить неидеальное идеальным, но мир этот, как раскручивающаяся по своей траектории Луна, удаляется от моей Земли на три миллиметра в год, только быстрее. Ага: выдала научный факт, соотнесла его со своей жизнью — это считается социокультурным кодом? Без этих кодов роман не написать, а я хочу написать роман, чтобы его читали люди, чтобы у меня от этого был приход материальных средств, чтобы переселиться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную, и тогда моё сознание, застрявшее в одной комнате, моё маленькое сознание, упёршееся в потолок высотой два метра пятьдесят сантиметров, расширится до двух комнат с потолком этой же высоты.

Как можно больше социокультурных кодов! Чтобы все поняли, чтобы приняли, и пусть мне дадут премию, большую, чтобы на всё хватило, а ещё на мебель. Я не вижу разницы между функционалом буфета, оставшегося после бабы Клавы, и шкафчика, отделанного под бук, мне буфет нравится даже больше, возможно, я возьму его в двухкомнатную квартиру, когда буду переезжать из однокомнатной, но на мебель мне дайте — я должна поддержать производителя, а то он станет, не дай бог, отдыхать, и другие люди, которым так необходима мебель, останутся без неё.

Нет, если премию не дадут, можно выставлять роман в «Фейсбуке», частями, тогда десять процентов моих друзей будут его читать и ставить лайки, и будет у меня по семнадцать лайков на пост в среднем, некоторые из них будут красными, в форме сердечек, я буду

представлять, что было бы можно на них купить, если бы это были деньги (красный лайк — больше денег). И я куплю на них, конечно, мебель.

А сейчас главное — сидеть и писать роман, не забывая снабжать текст социокультурными кодами.

Можно будет устроить презентацию романа, туда придут все мои знакомые, их много. Меня любят — значит, придут. И тогда главное — не выходить до начала презентации: люди, не все, но многие, обожают друг друга трогать, крепко прижимать тело другого к своему телу, это называется дружеские объятия. Я неоднократно всем говорила, что прекрасно обхожусь без этого, слышали почти все, и я почти смирилась с этой традицией, я терплю лёгкие прикосновения людей, я понимаю, что потребность в прикосновениях — это материальное выражение потребности в близости или в причастности. Я нормально отношусь к лёгким прикосновениям; раньше думала, что когда человек прикасается, он хочет забрать моё тело, моё прекрасное тело, в котором моему сознанию уютно, комфортно, моё тело, которое, даже скитаясь на морозе по молодости, ни разу не промёрзло до костей, потому что я всегда заботилась о нём. Прикосновения не делают моему телу хорошо, но и плохо не делают, убеждаю я себя. Однажды нечаянно прикоснулась к другому телу сама, удивилась: там, под одеждой, была женская грудь, маленькая и тугая. Нет, я знала, что она есть, но удивилась: мне не было неприятно, было интересно и совсем не страшно.

Но всякий раз на презентациях появляется Она. Она говорит: — Я знаю, что ты не любишь обнимашки, но мне-то можно, это же я. — Я не люблю обнимашки, — слабо сопротивляюсь, — ну правда, — но она уже сжимает меня в объятиях.

От неё пахнет потом, нездоровым желудком, тленом, который она приняла в своё тело, когда перекусывала бутербродами с колбасой, мне хочется пнуть её, но принято считать, что она хороший человек, «Сука, — хочу заорать, — отвали от меня, сгинь, пойдй помойся, перестань жрать без меры, дай своему желудку время переварить сожранное, сгинь, уйди от меня!» — и улыбаюсь, а хороший человек, тиская моё тело, наваливаясь на него, забирает его себе. Потому что принято считать, что это хороший человек, а хорошим людям можно всё.

Поэтому я не хочу презентацию, уж лучше мебель. И быть толерантной.

ГЛАВА 2

Что я знаю о толерантности?

Как-то бывший муж, Олежок, тот, кого нельзя называть (иногда социокультурные коды появляются в тексте сами по себе, без моего

участия), принёс домой из церкви открытки с иконами, он купил там эти открытки, хотя не работал, я работала, я работаю гадалкой, ко мне приходят люди, чтобы узнать судьбу, чтобы узнать, например, получится ли в течение года купить квартиру. Это их право — полюбопытствовать у карт, получится ли. Заручиться поддержкой в начинании — это их право. И мой хлеб. Если бы моим хлебом были стихи, я бы уже давно обменивала лайки на хлеб, приходила бы в магазин, показывала бы телефон, говорила бы: у меня двадцать два лайка сегодня, дайте, пожалуйста, маленькую «Бородинского».

Олежок принес ещё доску, золотую клейкую бумагу и бутылку водки. Он пил водку, оклеивал доску золотой бумагой, когда уставал — уходил на кухню курить. Возвращался, продолжал свой труд. Оклеил доску, получилось красиво, гладко и нарядно. Спросил у меня: — Чего не помогаешь?

— Давай помогу, — сказала я.

Мы стали раскладывать открытки на доске. Олежок хотел, чтобы всё было правильно, как в церкви: Богородица, Иисус Христос, Святая Троица — чтобы всё в положенных местах. Он вспоминал — как в церкви. Я сказала:

— Надо по иерархии, кто главнее. Вот кто главнее — Иисус или Троица?

— Троица, — сказал Олежок, — там же есть Бог Сын, Бог Отец и Святой Дух. Троица — само название — три в одном. Их больше, значит, икона главнее, чем один Иисус.

— Это же он, да? — спросил Олежок и ткнул пальцем в фигуру на открытке. — А Богородицу надо слева, — сказал. Она же баба, её слева, Николай Чудотворец главнее, он мужик, мужчина, у него работу попросить можно, его надо справа наклеить.

— Ну, — сказала я, — делай как знаешь.

Олежок приклеивал иконы к доске на суперклей, Олежок вместе с доской отражался в зеркале. Я подумала, что если он повесит иконостас напротив зеркала, будет два иконостаса, а Богородица будет справа. Задумалась над этим.

— В чём смысл жизни? — я даже не поняла, что произнесла это вслух.

Олежок резко вскочил, взял меня за шею и стал душить. Потом толкнул на пол, пнул в живот, потом ещё несколько раз. Пытался попасть ногой по лицу, но я закрывала лицо, механически, не понимала, что происходит, понимала, что надо закрыть лицо. Олежок поднял меня за одежду и швырнул моё тело о комод. Тело стекло с комода, как в мультике про Тома и Джерри. Тело лежало у комода, я приподняла его и дотащила до кровати.

— Сука, — тихо сказал Олежок, — сука. Человек тут работает, для семьи старается... Сука. («Человек» — выделено голосом.)

Всхлипы угасали в районе горла, я не потеряла сознания, но была близка к этому. Олежок медленно, в тумане, доделал иконостас, присобачил сверху крест, который вырезал узорчато все два месяца,

что был без работы. Потом ушёл в ванную — мыться. Вышел заметно повеселевший; я бы сказала, что могу ощущать состояние человека (выделено голосом), но перед этим-то не ощутила, значит, это не будет правдой. Повеселевший и абсолютно голый, его дом — его правила, вышел, встал перед иконостасом и стал молиться. Голос его звучал проникновенно, бархатно, молитва началась со слов: «Боженька, прости меня («Что у него было — помутнение рассудка, нервный срыв?» — подумала я), прости меня, Боженька, — повторял Олежок, — ну прости Ты меня, грешного, что я без трусов перед тобой стою...

Мне хотелось услышать продолжение молитвы, но организм выдал спазмы горла, те, которые люди называют смехом, и остановиться я не могла. Олежок прервал молитву, подошёл ко мне, недовольный, и стал трясти меня. Тряс долго, пока я не прекратила смеяться. Олежок негодовал: я кощунственно прервала святое — его общение с Создателем Вседержителем. В тот день он сломал мне копчик. А я лежала и боялась. Я не убила его только от малодушия, мне не хватило духа.

Если я не убила тогда его — вправе ли я бить людей за их запахи, за их тягу к объятиям? Что я знаю о толерантности? Я знаю о ней всё.

Что я знаю о толерантности?..

Когда ещё не понимала, что за буквы платят мало, когда думала, что умею обращаться с буквами профессионально, интервьюировала человека, приговорённого к смертной казни, к расстрелу, но человек попал под мораторий, его не успели расстрелять, он остался сидеть пожизненно, Рахман его имя. Рахман зарезал четверых, в том числе двоих маленьких детей, один из них на момент убийства мирно спал в своей кровати, он был младенцем. Из материалов дела узнала, что Рахман пришёл в дом своего соотечественника Ахмеда, выпил с ним, потом достал заранее приготовленное орудие убийства (нож, лезвие столько-то сантиметров), нанёс удар Ахмеду и по одному удару — его жене и его детям. Сопrotивления они не оказали, Рахман был молниеносен. Из показаний Рахмана следовало, что неделей ранее Ахмед пришёл домой к его сожительнице, русской сожительнице, дома была её дочь, девочка четырнадцати лет. Ахмед изнасиловал девочку, изнасилованная девочка рассказала обо всём Рахману и матери, они пошли в милицию. В милиции принимать заявление отказались, сказали, что мать лишат родительских прав, это всё, чего можно добиться, если подать заявление. Ещё два дня заявление пытались подать, но никаких отметок в журнале приёма заявлений об этом в милиции нет. Ещё три дня Рахман пил, потом взял нож и пошёл в гости к соотечественнику. Ахмед смеялся над ним, говорил, что это глупость — заступаться за русскую, которая всё равно так и так станет проституткой, все русские — проститутки. Рахман достал нож и ударил.

— А зачем он убил жену и детей, — спросила я замполита, который дал дело.

— Обычай кровной мести предполагает, — сказал замполит, — что вырезать надо всё потомство насильника. Чтобы избавить мир от дурного семени.

Меня привели к осуждённому. Обычный некрупный узбек, даже рыхловатый. Никакого зверского блеска в глазах, глаза как глаза. Я отчётливо помню четыре его ответа, хотя вопросов было много. По-русски он говорил плохо, но вполне понятно.

— Зачем вы убили детей?

— Род насильника должен прекратиться, тяга к насилию передаётся от отца к сыну.

— Девочка, за которую вы отомстили, она же не родная вам. Зачем убивать из-за неродного ребёнка тех, кто ближе вам по крови?

— Я жил с её матерью, её мать мне родная, она ухаживала за мной, готовила еду, мы с ней спали. Её ребенок — мой ребёнок. Я убил за свою семью.

— Кто вам пишет?

— Падчерица пишет, два раза в месяц. Мать её не пишет, она от меня отвернулась: я убил, её можно понять — она боится.

— О чём вы мечтаете?

— Получить помилование. Увидеть мать.

Что я знаю о толерантности? Я ничего не знаю о ней.

Зато я создаю идеальный мир, я многое знаю об идеальном мире. Моя лента новостей на «Фейсбуке» — сплошная радость; если кто-то из моих друзей регулярно делится новостями про чьи-то чужие болезни, я скрываю новости, поступающие с этого аккаунта. Да, я не хочу этого видеть. Я оставила из таких только тёти-Валину ленту новостей. Тёте Вале семьдесят семь лет, она моя двоюродная тётка, она живёт в другой стране. Она размещает жизнеутверждающие новости, касающиеся человеческого организма. Однажды тёти-Валина лента новостей поведала моему идеальному миру о разновидностях кала, новость представляла собою картинку, на которой была изображена филейная часть человека, производящая на свет кал. «Титаник», «олень», «торпеда» — это виды кала здорового человека. Картинка была отвратительная и яркая. Увидев эту картинку, я задумалась о судьбах литературы. Это всё, что надо знать о современной литературе, подумала я.

Новости про котиков, которые ищут дом, я не скрываю — я верю в то, что котики его найдут, я люблю котиков, и в моём идеальном мире они всегда находят дом; иногда я нахожу подтверждение этому в мире реальном. А в моём идеальном мире мои новости о том, что котики ищут дом, люди игнорируют; возможно, они считают, что это

не позитивные новости, а разместившая их я — неполноценна, но проходит время, и аккаунты начинают реагировать на меня, на мои новости, которые считают позитивными. Написав стихотворение или разместив фото букета, я вновь становлюсь полноценной в глазах общественности. Это так важно — быть позитивной в глазах общественности: если ты не позитивна — твою детскую книжку, вышедшую тиражом сто пятьдесят экземпляров, люди покупать не станут.

О да — я знаю кое-что об идеальном мире.

Кое-что и ещё немного. Во времена моей юности я жила с родителями в посёлке аэропорта, в двухэтажном доме на четырех хозяев; квартиры там были хорошие — большие, тёплые и уютные, семьи в них жили счастливые и благополучные, у всех огороды, у всех материальные блага, обусловленные тем, что мужчины работали в аэропорту.

Да, тут надо внедрить в текст исторический маркер: если в тексте есть исторические маркеры, у текста больше шансов получить премию, а у автора — купить мебель. Так вот, исторический маркер: Россия, девяностые годы двадцатого века.

Дом наш стоял под горкой, а на горке, метрах в сорока от дома, стоял магазин «Турист»; впрочем, он стоит и сейчас. Продавцом в магазине работала Данилова, мама Светы Даниловой и её младшего брата, хорошая, добрая женщина. Одним прекрасным утром хозяева приехали в магазин, магазин был открыт, помещение выглядело апокалиптически: предметы разбросаны, витрины разломаны, везде кровь, на полу — тело Даниловой, тело, разрубленное посредством множественных ударов тяжёлого острого предмета. Ни у милиции, ни у жителей посёлка не было ни одной хотя бы более-менее адекватной версии: Данилова никому не могла ни сделать ничего плохого, ни просто нагрубить.

В то же время исчез Лыва — дядя Саша Лужин. На его счёт версий было много — хотя бы несчастный случай на воде: у Лывы был катер, он рыбачил и так — отдыхать любил; Лыва — приличный человек, женатый, с детьми.

Жена Лывы осталась одна, в небольшой квартире на первом этаже, в посёлке аэропорта. Лариса Петровна, её соседка, доктор, почувствовала неприятный запах, запах шёл откуда-то снизу. Сначала думала, что ей кажется, потом запах тлена стал более ощутимым, Лариса вызвала ментов. Через Ларисино подполье менты прошли в подполье Лывиной жены и ничего там не обнаружили, в подполье ровными рядами стояли банки с дачными заготовками. Только на следующий день до одного из сотрудников дошло. Жена, зарубив мужа топором, разделала тело, кости закопала под земляной пол подполья, а мясо засолила, закатала в банки, составила их аккуратными рядами. Предположение сотрудника подтвердила служебная

собака, а потом и сама Лывина жена. Она сказала, что Лыва хотел с ней развестись, а имущество забрать себе. Имущество, нажитое совместно. Это несправедливо — забирать у женщины имущество, сказала Лывина жена. Несправедливо также спрашивать про долг; да, она часто брала у Даниловой продукты под запись, а спрашивать про долг несправедливо. Лывина жена была в отчаянии, в отчаянии пошла домой, в отчаянии взяла топор, в отчаянии нанесла Даниловой удары, сколько — не помнит. Пошла домой, через некоторое время убила мужа и жила, пока Лариса не услышала странный запах.

Идеальный мир — это когда в сорока метрах от твоих ушей убивают женщину, а ты не слышишь, и соседи не слышат, это важно — соседи тоже не слышат. Идеальный мир — это когда тлен маскируется тем, что в «Л'Этуале» продают под видом духов. Если бы у Лывиной жены были духи из «Л'Этуалья», Лариса продолжала бы жить в своём прекрасном идеальном мире. Лариса была красивая, она и сейчас очень красивая женщина, я видела её фото на «Одноклассниках». Лариса, всю жизнь проработавшая детским доктором, достойна идеального мира.

Я точно знаю, что в «Л'Этуале», в его подвале, в его подполье, живёт демон. Демон делает духи для женщин, они этого достойны — жить в идеальном мире. О, они этого достойны. А на досуге демон ловит Лыву, наносит ему удар топором по голове, разделяет Лыву, укладывает куски мяса в трёхлитровые банки, пересыпает мясо пряностями, солью, закрывает банки, закапывает кости. Утром демон превращается в симпатичных девушек-консультантов, девушки продают духи другим девушкам и женщинам, они исключительны. Они достойны идеального мира.

ГЛАВА 3

Моя бабушка ничего не знала о толерантности, даже слова этого не знала. Она родилась доброй. Либо в какой-то момент жизни позволила себе быть доброй. Она была умной, она хорошо воспитывала шестерых своих детей, я не знаю, почему четверо из них стали алкоголиками, сыновья моей бабушки, мои искромётные дядьки, которые любили всё и всех, я не знаю, почему они спились, — дочери же не спились, а процесс воспитания шёл в абсолютно равных условиях. Мой роман, вообще-то, о бабушке, вероятность получить премию за роман о бабушке значительно выше, чем, к примеру, за роман о бытовом убийстве, какими бы ни были его мотивы, сколь бы ни был интересен общественности способ. Да, мой роман о бабушке, это я решила только что, окончательно. Но я не могу знать того, что чувствовала бабушка в той или иной ситуации, нет у меня этого дзена, есть обрывки воспоминаний — бабушкиных. Например, как она родила дядю Валеру, недоношенного, семимесячного, как ей говорили, что он не выживет, ни за что не выживет — в нём

весу килограмм, невозможно выжить, имея всего килограмм веса. Бабушка взяла старую дедову крагу, дед был лётчик, летал на открытых самолётах, у него были краги на меху и шлем на меху, в шлеме выводили цыплят на печке. Так вот, бабушка взяла дедову крагу и стала выводить в ней Валерия Павловича, как цыплёнка, и Валерий Павлович стал набирать вес, Валерий Павлович выжил. Да, бабушка знала кое-что об идеальном мире. Когда умер мой дед — другой дед, не Пал Савелич, — когда умер папин отец, мы с бабушкой оказались на поминках, поминки были татарские для татар и русские для русских. Стол, еда на столе была одинаковая для всех, отличие было в том, что на татарских поминках водки не было, а на русских была. За шторами, в спальне, вторая бабушка, бабка Софья, обсуждала с кем-то русские поминки. Она сказала:

— Да никто не напьётся, все же люди, — и добавила после паузы: — Только гуляевские — свиньи.

Бабушка это слышала, и я это слышала, бабушка сделала вид, что не слышала, я сказала:

— Давай уйдём.

Бабушка сказала:

— Мы останемся. Я ничего не слышала.

Мы остались. Пришли дядьки, по одному в разное время, выпили киселя, съели что-то. Дядьки, каждый, провели за столом не более пятнадцати минут, почтили память по-татарски, без водки, ушли.

О мудрый демон «Л'Этуалья»! Надели меня сверхспособностью — не слышать некоторых слов. Тогда мой реальный мир будет иногда становиться идеальным. Надели меня, демон, способностью искренне улыбаться нелепой женщине, заключившей замешкавшуюся меня в свои жаркие объятия.

Я нагрубила бабушке всего один раз. Я говорила, что меня совсем никто не любит, она посмела возразить, она сказала, что меня любят все. Я закричала.

— Зачем ты врешь? Ты бессовестная! — закричала я. — Ты как они!

Бабушка чистила яйцо, яйцо было всмятку, яйцо всмятку варится ровно одну минуту.

— Я тебя люблю, — сказала бабушка.

Бабушка протянула мне яйцо (всмятку, варить ровно одну минуту).

Я чуть не выпала из сапога, который надела, чтобы выбежать в ночь, в мороз. Я запнулась о собственный сапог, снимая его. Молния не расстёгивалась так же эффектно, как застегнулась. Молния зацепилась за носок, слёзы выкатывались из глаз и смешно разбивались о крашенный коричневым пол. Кое-как сняла сапог, взяла яйцо, ложечку, стала есть яйцо и делать вид, что слёз нет; они катились, но я надеялась, что бабушка их не видит.

Меня действительно никто тогда не любил.

Работала одно время на телеграфе войсковой части номер такой-то. Ещё несколько молодых женщин из города работали в войсковой части, это считалось почётным и перспективным: работа в части давала женщинам шанс выйти замуж за офицера, уехать с ним в Подмосковье, а возможно — в Москву, подальше от места, где нет ни работы, ни оперы, ни достойных кандидатов в мужья. Разумеется, все перетрахались между собой, о любовных треугольниках, квадратах и прочих геометрических фигурах я узнавала от Ирки, жены прапорщика-снабженца, было невероятно интересно, хотя я тут же забывала, кто, когда и с кем, — это были не мои романы.

И вдруг — как гром среди ясного неба: Олеська Андропова, мы с ней в одном классе учились и работать в часть пошли в одно время, загремела в кожвен с диагнозом «сифилис». Об этом мне по секрету сказала одна родственница, она работала в больнице. В нашем прекрасном догвилле, в нашем маленьком красивом городке, куда в прежние времена ссылали декабристов, все всем всё говорили исключительно по секрету. По секрету же лечились в кожвене полковник из части, Олеськина подружка Катька, её подружка Людка, муж подружки Людки, жена полковника из части, любовник жены полковника и несколько его женщин, с которыми я знакома не была. Лечился ещё ряд лиц разного возраста и пола. В центре внимания общественности была Олеська. Сифилис пошёл от Олеськи — она заразила полковника и мужа Катькиной подружки Людки, который, в свою очередь, заразил Олеськину подружку Катьку и свою законную жену. Все обсуждали сифилис и сучку Олеську, которая заразила такое количество людей. Олеська была виновницей всех бед, включая казни египетские. Мы с Катькой, которая работала санитаркой в больнице, а посему лечилась тайно и амбулаторно, пошли навестить Олеську. Катька думала, что я не знаю о её, о Катькином, сифилисе. Мы пришли к Олеське, вызвали её на улицу, покурили, постояли в больничном дворе — демонстративно, чтобы все видели, что у Олеськи есть мощная поддержка в нашем лице, и ушли. Это был акт протеста, мы были очень смелые. Естественно, стали говорить и про нас, но доказательств не было — мы просто пришли к Олеське, к молодой, очень красивой женщине, которая заразила сифилисом весь город. Мы никому бы не доказали, что сифилис не мог самозародиться в Олеське, а московский лейтенант, обещавший ей жениться и оставивший её наедине с мечтами, надеждами и четырьмя крестами, был далеко, в другой войсковой части, в Москве. Олеське оставалось или уехать подальше, или покончить с собой. Она уехала. Покончила с собой много позже, по другой причине.

Так вот. Сифилисом переболели все красивые девочки, работавшие в части, и даже некрасивые сёстры Мащалковы переболели им. Я — нет. Я была настолько не востребована, что даже сифилисом не переболела. Я была нелюбима и понимала это.

Меня редко звали на дни рождения, крайне редко. Мне было пятнадцать, когда девочка Надя позвала на день рождения к своему брату, Сафонову. Я обрадовалась, нарядилась, попросила у родителей денег на подарок, пошла, радуясь факту приглашения, радуясь, что познакомлюсь с самим Сафоновым. Сафоновская мама приготовила разнообразные лакомства, сам Сафонов оказался приятным человеком, он был вежлив, уделял внимание всем гостям, и мне уделял внимание. Было немного вина, я не пила тогда вино, никто и не настаивал. Ко мне подсел мальчик, незнакомый, но старше меня, лет семнадцати мальчик.

— Ты на одну девчонку сильно похожа, — сказал он.

Сказал громко, все повернулись на его голос.

— На какую? — спросила я.

— На Олю Гуляеву, — сказал мальчик.

Я превратилась в вопросительный знак, вопросительный знак напряжённо ждал, когда начнётся прямая речь.

— Ну, Оля Гуляева. Она проститутка, — сказал мальчик.

Вопросительный знак вознёсся до Луны, по пути прицепив к себе восклицательный.

— И как она? — спросила я.

— О, она так орала, когда я драл её на капоте своей машины, — гордо заявил мальчик.

Слёзы подступили, были готовы явить себя миру. Сафонов взял меня за руку, Сафонов сказал:

— Оля, у него нет машины.

Мальчик стал пунцовым, сначала уши, потом кровь прилила к лицу и даже к шее этого мальчика.

— Гуляева, ну чё ты? — сказал Сафонов. — Всё нормально. Только не реви.

Я улыбалась. Что вы, я не думала реветь. Проституткой была Пышка, у Розанова были проститутки, загадочные принцитутки; нет, я не думала реветь, но подступившие слёзы вот-вот готовы были начать скатываться по лицу, движимые силой всемирного тяготения. Мальчик стремительно выскочил из-за стола и убежал. Сафонов, день его рождения был в октябре, сейчас я знаю, что это зодиакальные Весы, перевёл тему.

Когда все болели сифилисом, а я нет, я вспомнила этот случай, я думала тогда: почему я не проститутка? Лежала бы сейчас в кожане вместе со всеми.

Случай этот я вспомнила ещё раз через много лет, мне было скорее под сорок, чем за тридцать. Я ехала в трамвае на рынок, разговорились с пожилой женщиной, разговор шёл о мужчинах. Она утверждала, что мужчины скоты, потому что их не так воспитали; она смотрела передачу по ТВ, там показывали, как мужчина бил жену, бил ребёнка, а потом и вовсе бросил семью, никакой ответственности, сказала женщина. И процитировала мне строчки из стихотворения. Стихотворение было о жестокой женской доле, о том, как женщина, превратившись в царевну Лебедь, улетела от мужа-тирана. Это было моё стихотворение, я написала его, когда уходила, точнее, сбегала от Олежка, потом читала его на городском конкурсе, заняла второе место, и за это второе место мне издали книжку размером с ладошку, тиражом триста экземпляров, пятьдесят дали мне.

— Это Оля Гуляева написала, — сказала женщина, — я много её стихов наизусть знаю. Мы с ней учились вместе, — сказала пожилая женщина, — наша она, красноярская.

Для неё не имела значения фотография на обложке. И хорошо, подумала я. Потому что не накрасилась; на конкурс накрасилась, а в трамвай — нет. Мне стало стыдно. Я выскочила из трамвая за остановку до своей. Ещё один идеальный мир остался за моей спиной; возможно, надо было его разрушить.

ГЛАВА 4

А, конкурс. После конкурса меня приняли и полюбили: призовое место в конкурсе — признак полноценности человека; люди, которые раньше едва ли замечали меня (а я знаю их по именам, всегда знала), стали вдруг замечать, я стала полноценной, городской конкурс — это вам не шутки, да. Но мне надо подтверждать свою полноценность в глазах людей, поэтому я выиграла все возможные городские конкурсы, и подтверждать полноценность мне более нечем. А во всероссийском слэме заняла шестнадцатое место из шестнадцати возможных, и теперь в резюме у меня есть пункт: «Участник всероссийского слэма». Я слышала радостное сочувствие в голосах поздравлявших. Ты в любом случае лучше всех, говорили люди. Я слышала: ты уже не такая полноценная, как раньше. Что-то с тобой не так, слышала я.

Ах да, исторический маркер: второе десятилетие третьего тысячелетия от рождения Христова. Толерантность, доступная среда, конкурсы стихов, где любой может победить, если владеет хотя бы средним словарным запасом. Но чтобы выиграть конкурс серьёзнее городского, среднего словарного запаса недостаточно; чтобы получить премию, надо выдать что-нибудь эдакое, например стриптиз, или просто неподдельную искренность. У меня небольшой словарный запас, у меня туго с восприятием социокультурных кодов, поэтому я пишу роман про бабушку: на крайний случай, у меня будет много

лайков, люди снова станут считать меня полноценной. А шестнадцатое место... Людская память — на два дня.

— Людская память — на два дня, — так сказал Вадик, когда уходил.

Вадика я знала много лет; хоть с кем, но не с Вадиком, — это знали все. Когда я в очередной раз ушла от Олежка, чего уж там ушла — когда Олежок вытолкал меня в очередной раз за дверь, следом вытолкал кота и собаку, Вадик оказался в моей постели. Чего уж там оказался — иди сюда, сказала я Вадику. О, я не пожалела, очень всем рекомендую Вадика. И Вадик не выглядел замученным мною и жизнью. Через две недели после первого соития Вадик привёз ко мне комп и предметы одежды. Вадик — это самое дно, днище, это отчаяние: я была Лывиной женой, я нанесла первый удар тяжёлым острым предметом, мне было жаль имущество, которое осталось у Олежка, я была в полном праве на этот удар, я продолжала убивать Лыву, я не закапывала кости, но выставляла их на всеобщее обозрение, это были честно выстраданные трофеи, я не прятала мясо, не закатывала его в банки, я разбрасывала это мясо по городу, я появлялась с Вадиком везде, где возможно — у него на работе появлялась, в театре, он работал там электриком, впрочем, работает и по сей день, Вадик сопричастен искусству, он так считает. Я ходила за Вадиком хвостом, мне было страшно оставаться одной, я приходила к нему на работу и сидела там, со мной говорили, я слышала голоса других людей, обращённые ко мне, это был шанс ощутить себя хоть сколько-нибудь живой. Вадик продемонстрировал меня своим друзьям, были чудесные вечера, он гордился мной, я купила ему штаны в секонд-хенде за семьсот, Вадик говорил людям: вот, мне Оля штаны купила, за семьсот.

Наступил его день рождения, был конец июля. Перед этим мы купили продукты, его мама купила продукты и я; она купила дешёвые продукты, но не хуже дорогих, понятно же, что не хуже. Она стала готовить из них, а те, что купила я, они куда-то делись, дорогие — это плохо, плохое испаряется само по себе, его лучше не замечать. Праздновали не у меня, у меня мало места, праздновали у Вадиковой мамы, у них большая квартира, четырёхкомнатная, в центре. Весь день делали салаты из дешёвых, но не хуже дорогих, продуктов, потом пришла Моника, спросила, чем помочь. Моника заправила салаты, Вадикова мама сказала:

— Вот как хорошо, резали весь день, резали, а Моника пришла и всё за минуту сделала, вот что значит настоящая женщина.

Она сказала это абсолютно серьёзно. Моника, ухоженная женщина неопределённого возраста, с химической завивкой на длинных волосах цвета воронова крыла, зарделась и гордо вскинула голову, как будто сейчас начнёт танцевать фламенко. Мне казалось, что она сейчас достанет кастаньеты, станет отстукивать себе ритм, а её юбка,

ничуть не хуже, чем дорогая, будет кружиться, струиться, юбка станет цветной, я ощутила, как её цветная юбка хлестнула мне по ногам; если б не ноги, это можно было бы назвать пощёчиной.

Вадик тем временем встречал гостей, у него много друзей, Вадик был радостно возбуждён. Из гостей мне понравилась Савченко, бывшая женщина Вадика, она пришла со взрослой дочкой, она не пыталась выглядеть дорого — какая есть, такая есть, ей было некомфортно, я хотела её развлечь, но всё было не туда. Я оставила в покое Савченко и пошла за стол. Были водка, салаты и котлеты из фарша индюшки с большим количеством риса, Вадикова мама говорила, что это тефтели и от риса они такие мягкие и сочные. Я выпила водки, положила себе салат. Попробовала салат, майонез в нём имел привкус пластмассы, я делала вид, что ем, но не ела; положив в рот крабовую палочку, поняла, что она отдаёт тухлятиной, проглотила, но во второй раз поднести вилку ко рту не смогла. Я непритязательна в том, что касается еды, я ем всё, у меня был период, когда есть было совсем нечего, жила тогда с Грековым, мы могли не есть по два дня, но тухлятины не ели, даже не думали об этом, Греков находил в итоге картошку, макароны, о просрочке мы и не знали, если бы и знали, не стали бы её есть. Это не гордыня, это гигиена. Рисовые котлеты я исключила ещё на этапе их приготовления; если бы в них не было индейки, я бы их ела, но индейка откровенно воняла (где ты был тогда, славный демон «Л'Этуалья»?). Я пила водку вместе со всеми и вдруг заметила, как Вадикова мама наливает водку в рюмку шестнадцатилетней девочке, с которой пришёл Тимур, Тамерлан, мой друг и бывший любовник, он был моим любовником долго, лет двенадцать. Менялись люди, с которыми жила, а Тимур оставался. Я подумала: а что, если бы мне в шестнадцать лет чья-то добрая мама наливала водку? А вдруг потом эту девочку выгонят, если она напьётся, ей же всего шестнадцать?

У меня всегда было туго с восприятием социокультурных кодов.

Я спросила:

— Почему ребёнок пьёт водку?

— У этого ребёнка уже мужиков было больше, чем капель в рюмке, — сказала Вадикова мама.

Момент был напряжённый, выпила я много, наравне со всеми, только все закусывали, все же умные. Я сказала что-то ещё, Вадикову маму поддержали гости. Все пошли курить, и я со всеми.

И тут я вспомнила, как много лет назад пришла зимой к Вадику, погреться, а возможно, вписаться на ночь, он был готов вписать, но на пороге появилась его мама, которая только что наливала водку ребёнку. Вадикова мама тогда сказала, что нельзя, что свои квартиры надо иметь, что люди, у которых нет своих квартир, — неполноценные. Понаехали, сказала Вадикова мама. И добавила что-то про приличных

людей и неприличных. Я вышла из подъезда, пошла вписываться в другое место, по пути попала в нехорошую историю, но дошла всё же до другого места и вписалась.

Когда курили, ко мне подошёл Невский, его так и звали — Александр Невский, он сказал, что я неправа, что Вадикова мама права, её дом — её правила. Я согласилась, её дом — её правила, и спросила: — А если девочка пойдёт домой ночью, если её изнасилюют, убьют, ограбят?

Александр Невский сказал:

— И поделом: чего шастать ночами? — и засмеялся.

У меня началась истерика. Натуральная, я старалась остановиться, не получалось. Александр Невский сказал:

— Я тебе сейчас всеку.

— Давай, — кричала я. — Не перевелись богатыри на земле русской. Давай, — кричала я. — Боишься меня, да?

Невский ушёл в квартиру, ко мне подошла Моника и стала успокаивать, я вроде успокоилась, но Моника сказала:

— Но она ведь права: девочка-то взрослая.

Истерика возобновилась. Вадик, рассказывая мне об этом наутро, сказал, что Моника могла бы меня побить, она не сделала этого только потому, что не хотела портить его день рождения.

— Хотела бы — побила, — сказала я.

Я знала, что она пальцем бы меня не тронула, прояви она тогда малейшую агрессию — я бы её размазала по газону. Но если Монике захотелось проявить толерантность таким образом — пускай.

Вадик вообще ушёл, когда увидел истерику, его не было во дворе, он спрятался в квартире, куда меня, уже спокойную, привёл Тимур. Тимур не хотел меня побить, просто подошёл, дал воды и сказал:

— Всё, давай прекращай, пошли спать.

Тимур привёл меня в комнату Вадика, сказал:

— Твоя женщина, разбирайтесь.

Вадик сказал:

— Ты неправа, девочка эта — шалашовка, и мать у неё такая же.

Я рыдала и крушила мебель в его комнате. Когда мне дадут премию за роман, я куплю мебель и подарю её Вадиду.

— Нельзя наливать детям! — орала я. — Она ребёнок, ей лет столько же, сколько моей Софочке!

И разрушала предметы. Потом отключилась. Утром вызвала такси, чтобы ехать домой. Вадик поехал со мной. Успокаивал меня, потом мы уснули, а когда проснулись, Вадик снова успокаивал. Людская память — на два дня, сказал он, рассказал какую-то легенду про людскую память и ушёл. Я слала гневные сообщения, Вадик их игнорировал; мне никогда не нравилась неопределённость, и сообщения становились ещё более гневными.

Через какое-то время он вспомнил, что комп и некоторые вещи находятся у меня, он пришёл за ними агрессивно настроенный, они с толстым Сашей долбили в дверь, я не открыла. Они грозили милицией.

— Вызывайте, — сказала я, — а то сама вызову.

Они ушли. Я согласилась отдать вещи при условии, если мне отдадут семьсот рублей за штаны. Вадик порывался снять штаны, но я сказала, что штаны б/у мне не нужны, сказала, чтобы принёс деньги. Он принёс деньги, для чего-то озвучил, что взял их в долг. Ему нужны были комп и некоторые вещи.

Я вернулась к Олежку, у него кончился запой, он соскучился. Вернувшись, стала продумывать эффектный план ухода от него.

ГЛАВА 5

Оперируя социокультурными кодами, очень важно не путать их с социокультурными символами — со всякими штуками, которые не только позволяют читателю соотнести текст с собой, стать волокном в его ткани, но и символизируют нечто, важное для всех. Взять икону. Что символизирует икона, если пропустить поцелуй в плечо? Что символизирует икона в ленте моего «Фейсбука»?

Как-то я заметила, что в подвале соседнего дома живут пять котов. Котов кормила Валентина, соседка, она варила им кашу. Погололье грозило увеличиться и быть истреблённым другими соседями: две кошки были беременны, коты метили в подезде, вызывая волны протеста, грозившие вырасти в бурю негодования. Я была в полной растерянности, и Валентина была в полной растерянности — пятерых диких котов девать некуда, остановить их размножение нереально: дикие коты, которые сами приходят в клинику, сами выстраиваются в очередь на кастрацию, сами оплачивают процедуру, а потом сами возвращаются к местам обитания и там ведут себя так, как хотели бы этого люди, — о, это предел моих мечтаний. Нет, премию тоже хочу, но здесь можно время от времени хотя бы питать иллюзию, что это хоть на полпроцента зависит от меня.

Я обратилась к друзьям на «Фейсбуке». У меня сто семьдесят четыре друга, я разместила фото котов, я просила: заберите их в дом, скоро осень, я стерилизую их за свой счёт. Отреагировали пять человек — поставили лайк. Остальные не видели. Я написала людям, у которых большие аккаунты, несколько тысяч друзей, попросила разместить информацию о животных. Все, кого попросила, разместили, кроме одной женщины, воцерковлённой. Незадолго до этого она размещала у себя фото икон и текст о том, что благость входит в человека, когда он находится в поле действия икон.

Я попросила её разместить информацию о моих котках лично, написала сообщение. Женщина написала, что у её кошки родились котята и если она сейчас разместит у себя мой пост, её котят не заберут.

Через некоторое время читаю ленту моего «Фейсбука», а женщина эта пишет: как я рада, что не стерилизовала кошку, как я рада, что она стала мамой. Заберите котят в хорошие руки (фото котят прилагаются). И люди ей комментировали пост, писали: да, как хорошо, что не стерилизовала, это правильно, это по-христиански. Многим хотелось иметь котёнка от христианской кошки. И никому не хотелось брать к себе в дома наших с Валею нехристей. Надо было постить иконы, подумала тогда я. Икона — символ того, что человек хороший, икона — символ того, что у человека полноценные котики, достойные пребывания в тёплом жилище. Икона — символ позитивности отдельно взятого котика, символ того, что не надо расходовать деньги на его стерилизацию. Но вот ведь незадача: почему тогда иконы так часто присовокупляют к постам о том, что какому-либо ребёнку нужна, к примеру, искусственная почка? Ну и шло бы всё естественным образом. Я никогда не понимаю, почему искусственная почка — это нормально, это правильно, а кастрация котиков — противоестественно. В следующий раз, когда буду распространять котиков, обязательно присобачу по иконке на каждое фото — это и символ социокультурный, и код. Если так берут лучше — почему бы и нет? Одну кошку и одного котёнка (я не считала котят, говоря о пяти котиках) таки пристроила через Интернет. Просто писала незнакомым людям личные сообщения: ну возьмите, писала, ну пожалуйста.

Что же касается символов — когда маленькая Софочка ходила в художественную школу, там одна девочка нарисовала крестный ход, люди шли крестным ходом на фоне разрушенного храма; девочка была маленькая, она не имела в виду никакой символики, рисовала с натуры. Девочка, не ведая, что творит, создала символ, как и женщина, отказавшаяся размещать информацию про бездомных котиков. Только работу девочки другие люди видели, а отказ женщины видела только я, и отказ этот — не символ, нет, демон «Л'Этуаль» не даст этому отказу стать символом; ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу — вот лозунг, под которым демон бодро идёт по жизни. Женщина та много делает для людей, действительно много. Не надо было грузить её своими котиками, мои котики вне рамок её заводских настроек. Мне стыдно за вторжение в её идеальный мир; её люди, младенцы, иконы, котята её христианской кошки — это её ценности, моя попытка встроить в её отлаженную систему ценностей то, что считаю ценным я, жалкая эта попытка провалилась с треском, хотя речь шла всего лишь о странице на «Фейсбуке». О странице на «Фейсбуке»... Мой дом, мои правила.

Раньше, во времена моего детства, в семидесятые годы двадцатого века, многие вешали себе на стену «Неизвестную» Крамского, репродукцию, но никто не вешал «Сельский крестный ход на Пасху» Перова. Впрочем, и сейчас его редко увидишь на чьей-либо стене в «Фейсбуке». А «Неизвестной» — сколько угодно.

«Сельский крестный ход» я наблюдала в течение пяти лет, что прожила с Олежком, он-то был человеком истинно верующим. Вряд ли он, истинно верующий человек 1950 года рождения, знал о существовании Перова, но традицию выпивать на Пасху соблюдал исправно — и всегда я была в домике; чтобы возвести стены этого домика, достаточно было одного воспоминания: Пасха в маленьком городке (место ссылки декабристов). Лет двенадцать мне было, родители отпустили к Пал Палычу, к мамину брату, бабушкиному сыну. Пал Палыч не всегда пил, он пил запоями, он иногда даже курить бросал, он был волевой человек, он один воспитывал дочку, Танюшку, жена умерла, он не пил, иногда срывался, его капали, он приходил в норму. У него был огород и амариллисы на подоконниках. Амариллисы цвели, когда приходило время. У Пал Палыча было нереально чисто, он был и за хозяина, и за хозяйку. У Пал Палыча снимала комнату Лариса, студентка худграфа. У Пал Палыча было очень красиво, и меня отпустили к нему на Пасху. Лариса запрещала нам с двоюродной сестрой есть до полуночи, Лариса пекла пироги, крашенные яйца дразнили моё воображение, но чтобы их съесть, чтобы съесть волшебный кулич, надо было сходить в церковь и отстоять службу. Мы с Ларисой и Танюшкой пошли в церковь, метель была, но мне нравилось идти в церковь; от мысли, что Христос воскреснет, мне даже расхотелось яйца. В церкви было много народа, люди пришли пешком и приехали на машинах, никто не толкался, свечи спокойно поставили все желающие, потом пошли крестным ходом, люди пели, и у меня была радость — от людей, от Ларисы, от Танюшки и оттого, что Христос воскрес. И у всех была радость.

У Пал Палыча в детстве тоже однажды случилась радость. Как-то зимой мальчишки пошли гулять на замёрзшую речку Мельничную. То ли лёд в одном месте был тонкий, то ли маленький тогда ещё Пал Палыч не заметил прорубь, в которой женщины полощут бельё, — стал он, короче, тонуть. Кричал, потом не кричал, потом чудом выплыл. Сам. Сам домой пришёл, на берегу жили, и испуганной моей бабушке, его маме, рассказывал, что когда оказался в воде, киты его за пятки хватили, на дно тащили, а он им по мордам, по мордам. Так и отбился. Только валенки киты украли и на дно утащили.

Ребята, с которыми маленький Пал Палыч вышел гулять, отошли подальше и смотрели, как он тонул. Когда у них спросили, почему же они не кричали, не звали на помощь, они как один ответили:

а чего кричать-то — мы ждали, пока утонет. Вот утонул бы — тогда бы кричали.

Пройдя крестным ходом, мы пошли есть пироги и яйца. Век был двадцатый.

Как Перов, который жил в девятнадцатом веке, считал социокультурный код века двадцать первого? Неужели это действительно традиция — напиваться на Пасху?

Однажды, именно на Пасху, я налила рвотного в водку Олежку. Олежок подумал, что плохая водка, отправил меня за другой водкой. Я налила рвотного и туда. Всю Пасхальную неделю Олежка рвало, но у него и в мыслях не было не пить водки. То ему казалось, что он отравился яйцами, то решил, что у него стресс и рвота от стресса, остановился на том, что я его сглазила и от этого его рвёт. Его выворачивало, но каждый раз, выходя из туалета, он пил водку за Христово Воскресение, приговаривая, что это лучшее лекарство, что не выпить за Христово Воскресение — грех.

Олежок мне не доверял. Ему казалось, что я хочу его квартиру. Квартиру подарил ему брат, а он хотел передать её по наследству своей дочери, моей ровеснице, с которой не общался лет пятнадцать, с тех пор как уехал из Ялты, уйдя от жены. Уехал с шестнадцатилетней Ксюшей сначала в Донецк, потом в Джанкой, с работой везде было плохо, и он отправился в Сибирь к брату. Ксюша его бросила, ушла к молдаванину. При знакомстве со мной Олежок не сказал, что она сбежала от него потому, что бил её смертным боем. Сказала она сама, когда позвонила и потребовала денег: молдаванин её бросил, потом таджик бросил, ей надо было уехать обратно в Ялту, денег не было, она решила взять их у Олежка — раз он в Сибирь её привёз, пусть сделает обратно. Я купила ей билет до Харькова, только Олежку сказала не говорить. Я на тот момент прятала уже от Олежка все деньги; один раз он нашёл под стелькой в моём ботинке двести баксов. Нет, стыдно мне не было, как не было стыдно и того, что каждая моя случайная встреча с Вадиком заканчивалась однозначно.

Вадик стеснялся того, что трахается с замужней женщиной; это не по-человечески, неэтично, говорил он, брак священен, я бы, да я бы, если бы ты не была замужем...

Если бы да кабы, во рту бы выросли грибы, так говорила бабушка, когда сажала нас с Вовой, сыном тёти Лиды, по очереди на горшок. Она имела в виду: вот если бы было два горшка... Мне на полтора года больше, чем Вове, кормила бабушка нас в одно время, и на горшок, соответственно, хотелось одновременно. Я любила играть с Вовой, он был очень хороший. Я помню, как тётя Лида принесла его, совсем маленького, к бабушке, у него был оранжевый, почти

красный комбинезон, он спал, тётя Лида положила Вову на кровать Геннадия Палыча, я подошла посмотреть. У него был маленький носик, беленькие волосики, он был такой чистенький и красивый. Потом, когда Вова подрос, мы делали домик под столом у бабушки, стаскивали все покрывала с кровати, завешивали ими стол и сидели в домике, нам всегда находилось о чём поговорить, в домике пахло базиликом и петушиными гребнями, это такие цветы, они стояли на столе. Вова был моим лучшим другом. Я ждала, когда мы пойдём к тётя Лиде, я очень любила Вову, и Вова любил меня, он всех любил. Дед называл нас Мурзя и Бундюк. Я училась во втором классе, Вова в первом, когда заплаканная мама пришла домой и сказала: — Вову Коровина машина сбила.

Их класс пошёл на какую-то не то прогулку, не то экскурсию, Галина Фазиловна, учительница, переводила класс через дорогу, когда из-за угла вывернул газик, который сшиб Вову, замешкавшегося на дороге. Вова скончался в реанимации через сутки; все эти сутки тётя Лида, пребывавшая в отчаянии, просила врачей допустить к нему священника Фаста, чтобы тот крестил Вову, — не допустили. Вова умер в свой день рождения, тринадцатого марта. Не знаю, как это пережила тётя Лида. Бабушка говорила, что сглазила косая Клани, соседка снизу, что надо было вести Вову в школу, минуя дурной глаз косой Клани. Бабушка винила себя — это она позволила косому глазу Клани сделать своё чёрное дело. Водителю который был на момент ДТП в состоянии похмелья, дали семь лет колонии-поселения, через три он досрочно освободился. У Галины Фазиловны погиб сын, уже взрослый.

Моя школьная подруга, та, со свининой, как-то через много лет сказала, что Фазиловна не виновата.

— А теперь представь, что это был не Вова, а твой Серёжа, — сказала я.

Подруга не захотела представлять. Подруга обиделась.

Я, в свою очередь, ничего не желаю знать о толерантности.

ГЛАВА 6

Но есть-таки один человек. Этот человек, если будет голоден, зарубит топором и съест кого угодно, с костями, на закопать не оставит, принято так считать. Вдобавок к этому он гомосек и колдун. Мы дружим двадцать пять лет. Началось с того, что Витя, троюродный брат, привёл меня, сбежавшую из места ссылки декабристов, к нему в общагу и там оставил. Я боялась гомосексов. Гомосеки — это шайтаны, способные на любое. Шайтан не был доволен моим присутствием. Мне хотелось есть, и ему хотелось есть. Сначала шайтан говорил, что еды никакой в доме нет, вообще никакой, потом достал из плательного шкапа два яйца и сказал: вот, одно мне, одно тебе. Завтра в гости пойдём к кому-нибудь. Зажарил яйца, мы их съели. Это была

последняя еда в доме страшного шайтана, меня он видел впервые. (Здесь можно обозначить яйцо как символ, можно не обозначать, я не думала об этом, и ни о каких романах не думала, и бабушка была жива-здоровая.)

Я жила у шайтана, мы ходили по гостям, и даже если мы приходили в гости к другим гомосекам, я стеснялась того, что пришла с гомосеком: гомосек вроде и мужчина, но это же не мой мужчина — почему я не со своим мужчиной, а с гомосеком? Я неполноценная? Почему мы вместе идём в общажный душ, а он не делает никаких попыток к нормальному человеческому общению? У него есть писюн, я видела его писюн в душе, но писюн этот на меня не реагировал. Хотя я красиво стояла, красиво раздевалась. Я непривлекательная?..

Постепенно смирилась, стала даже бравировать тем, что у меня есть свой гомосек. Он выслушивал всё, что я хотела сказать миру, у меня не было потребности писать роман, если что — за премию, но премию, пожалуйста, вперёд. Мы скитались в поисках пищи, не забывая говорить друг с другом о высоком. Не было денег, не было еды, но мир был идеальным. Слава находил выход из любой ситуации, как, впрочем, находил и способ попасть в ситуацию любой степени сложности. Как-то мы шли возле торгового центра, мы намеревались пойти в гости, чтобы питаться, хозяев не оказалось дома, и мы шли голодные абсолютно, не самой бодрой походкой шагали по площади рядом с торговым центром, где уличные торговки выставили свой товар — овощи, фрукты, прочие продукты, тыкву и брюкву, импортную клюкву. Слава был в бордовом кашемировом пальто, в фетровой шляпе и с барсеткой, Слава (вот набираю в телефоне его имя, а следом выскакивает слово «кондом» — к чему бы это?) выглядел прилично, если не сказать — богато. Важный человек — наверное, мажор, наверное, сынок обеспеченных родителей, — устремился к прилавку, на котором красовались высшего сорта яблоки. Торговка подалась ему навстречу, он взял яблоко с прилавка, надкусил его и быстрым шагом пошёл прочь. Я семенила рядом, я поняла, что произошло, я и сама думала об этом, но никогда бы не решилась. Вслед нам неслось: — Воры! Разбойники! Грабят! Убивают!

Мы зашли за угол, Слава к этому моменту отъел половину яблока, вторую протянул мне. Была ранняя весна, ноль — плюс два, яблоко было холодным, есть его надо было быстро, чтобы торговки не догнали и не отобрали, и я ела, яблоко было сладким, я не упала в обморок, мы пошли в другие гости, там нас накормили. Кормили нас обычно плохо — для приличия просто поили чаем с печеньем или бутербродами, хорошо кормила только тётя Валя.

Слава однажды накормил меня тареном. Тимур нашел заброшенный склад гражданской обороны и забрал аптечки, в которых был в том

числе тарен — такие таблетки, от которых человек галлюцинирует, становится неустрашимым и живёт какое-то время, получив смертельную дозу радиации. Слава сделал это из озорства, он сам пробовал тарен ранее; может, ему понравилось, может, он хотел поделиться своей радостью со мной. Через полчаса после приёма двух таблеток тарена я стала галлюцинирующей, неустрашимой, и если бы получила на тот момент смертельную дозу радиации, то прожила бы ещё некоторое время, да.

Я ехала по мосту, по всей протяжённости моста стояли автоматчики, хоботы их противогазов тянулись ко мне, якобы для досмотра, хоботы тянулись ко всем проезжающим по мосту, досмотреть надо было всех — инопланетное вторжение предполагало особый режим безопасности и комендантский час. Мне же надо было до комендантского часа попасть на свадьбу к сестре Дмитрия в Суворовский, там всем давали еду, я везла в подарок аптечку гражданской обороны, оранжевую, я украла её у Тимура, могла бы и попросить, у него их было много. Сестра Дмитрия оказалась собакой, но не полностью, у неё только голова была от собаки, а тело — от инопланетянина. Жених её был крабом пролетарской наружности. Я поняла, что инопланетное вторжение принимает катастрофические масштабы, и подарила аптечку гражданской обороны бабушке Дмитрия, которая не успела с ними скреститься.

— Оранжевая, — сказала я. — Примите тарен, — сказала я.

Бабушка Дмитрия приняла аптечку, сказала спасибо, осенила меня крестным знаменем, я знала, что она атеистка, и очень удивилась. Бабушка Дмитрия усадила меня за стол и сказала:

— Поешь вот салатик, котлетки, картошку поешь.

И выдала мне автомат.

Это было её ошибкой. Как бы ни хотелось есть, а судьба родной планеты важнее: я направила автомат на инопланетян, которые пришли на свадьбу сестры Дмитрия, и стала расстреливать их. Больше половины инопланетян легло мгновенно. Остальные повскакивали с мест, кинулись ко мне и стали ограничивать мою свободу.

— Живой не дамся, — кричала я и продолжала поливать пришельцев короткими очередями.

Когда патроны закончились, я увидела на столе капсулы с зажигательной смесью и стала кидать их в гостей прицельно. Меня скрутили и оттащили в какую-то комнату, там был ковёр, я ушла путешествовать внутрь ковра, растения лабиринтообразно сплелись между собой, мне надо было выбраться. Выбиралась сутки, ещё сутки расстреливала инопланетян из вилки, которую прихватила со стола. Бабушка Дмитрия приносила мне патроны, мы отстрелялись.

Свадьба закончилась, война ещё продолжалась. Бабушка Дмитрия пыталась меня кормить, но я поела только тогда, когда мы победили,

когда я убедилась, что тела инопланетян утилизированы и мне ничто не угрожает.

Дмитрий был наркоманом, бабушке Дмитрия было не привыкать к роли заряжающего — она с ней справилась отлично, я бы дала ей орден, если бы у меня были соответствующие полномочия.

Надо ли говорить, что я отомстила Славе?.. Надо ли говорить, сколь жестоко?

Ожидание приговора гораздо более мучительно, чем момент его исполнения. Я напоила Славу крепким сладким кофе, а потом, когда он собирался выйти в ночь, сказала, что подмешала туда шесть таблеток тарена. Слава замешкался в дверях, он надеялся добраться до места до того, как начнётся; минут десять говорила я ему о том, что кофе усиливает действие таблетки, он сказал: это будет на твоей совести; он собрался выходить, я сказала: ладно, не подмешивала я ничего. И ещё с полчаса Слава пребывал в стрессе.

Слава таскал мои вещи по всему городу, когда я то уходила от Грекова, то возвращалась к нему.

У Славы десять лет живёт кот, которого я оставила на пару дней. Слава принёс котоловку, в которую поймали котов из соседнего подвала. Слава забрал нескольких котов, которых я подобрала и не знала куда девать. Слава вытаскивал моё тело от Олежка под «Прощание славянки».

Шайтан, одно слово. Мне без разницы — как он и с кем, к слову «толерантность» он отношения не имеет, его сразу надо было убить, сейчас поздно что-либо менять, демон «Л'Этуалья» тут бессилён.

Слава, проникнувшись светлой печалью, в которой я пребывала после очередного ухода Вадика, захотел поднять мне настроение, развлечь меня, чтобы не думала о грустном. Слава сказал Вадик, что я беременна, что надо делать аборт. Вадик не имел ничего против аборта, только спросил, почему так дорого, можно ли подешевле сделать аборт. Вообще-то оба участвовали, сказал Вадик. Сумма, которую озвучил Слава, показалась Вадик, Вадик договорился со Славой на треть суммы: у Оли денег больше, а участвовали, как ни крути, оба, и он, Вадик, не может позволить себе дорогую клинику, он работает в культуре. Только принесите мне документы, выписку какую-нибудь, УЗИ принесите — так сказал Вадик. Не то чтобы он не доверяет, но его уже один раз поймали таким образом, а деньги немалые.

У Славы нашлось УЗИ. С месяц назад он делал УЗИ брюшной полости одному из своих тридцати котов. Мы нашли в Интернете образец — как

надо заполнять бланк УЗИ по беременности, распечатали бланк, прикрепили к нему УЗИ брюшной полости кота степлером, перекатали яйцом печать ветклиники, приложили чек оттуда же.

Вадик внимательно посмотрел документы, извинился за то, что потребовал их, но его тоже можно понять — деньги-то немалые. Вадик убедился, что прерывание беременности имело место, и выдал мне наличные, устроив маленькую церемонию прощания с ними. Сказать, что деньги были взяты в долг, сказать, что расходы непредвиденные, — это стало для него своеобразным ритуалом, он подтверждал для себя, сколь значима я в его жизни: раз он позволяет себе расходы, связанные со мной, значит, значима, но это я должна понять сама, без слов. Подружка Оксана, в присутствии которой происходил акт передачи наличных, едва сдержала смех, мы сидели в кофейне, в центре, недалеко от работы Вадика, он сказал, что увидится со мной и передаст деньги только в людном месте.

Все Вадиковы деньги пошли на помощь бездомным животным — ими оплатили стерилизацию кошке. Стерилизация — это кошачий билет в идеальный мир, кастратов лучше забирают, кастраты не пакостят, у них меньше шансов оказаться зимой на улице.

ГЛАВА 7

Если котики, оказавшись на улице, не понимают, что происходит, не могут нести ответственности за происходящее, если у котиков порой нет выбора — сидеть в тепле или быть на улице, то у меня этот выбор был всегда, и всегда я это понимала, и всегда желание быть самой собой брало верх над желанием тихо сидеть в тепле. Много позже я поняла, что можно совмещать. А в двадцать два я не была гадалкой, я была вольным слушателем филологического факультета университета. За год до этого тётя Валя, у которой можно было кормиться в любой момент и ночевать в любой момент, тётя Валя, у которой можно было жить месяцами и не думать о пропитании, папина двоюродная сестра тётя Валя уехала в Израиль, и Митя, сын тётя Вали, мой троюродный брат, с которым можно было пить водку и говорить о мироустройстве, тоже уехал в Израиль.

Вольным слушателям общежития не полагалось, и я жила с Константином, человеком двадцати одного года, обстоятельным, работающим, у него всегда были деньги и еда, он сначала провоцировал мои капризы, потом героически преодолевал трудности, с ними связанные. Он был классический жабий сын из Дюймовочки, и мать его была классическая жаба. И всё бы хорошо, жили бы и жили, но я нашла у него видеокассету с детским порно, он говорил, что ему дали переписать, что это за деньги, а я перед этим купила у евреев, уезжающих в Израиль, книжки для маленькой Софочки — «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Путешествия Гулливера», десятитомник Эдуарда Успенского.

Я расцарапала лицо жабьего сына Константина, жаба-мать причалась, говорила, что переписывать детское порно — это нормально, если за деньги, жаба-мать порывалась наказать меня физически, тут же утверждала, что надо быть добрее к людям, путалась, высказывая разные взгляды на детское порно. Жаба-мать демонстрировала возможности окон Овертона, я не знала тогда ничего об окнах Овертона, но это были окна Овертона, технология рабочая, только действует не на всех.

Я не смогла оставаться в том доме, у меня нет разных взглядов на детское порно, я могла выбрать толерантность, но выбрала идеальный мир. И стояла посреди этого идеального мира с сумкой своих вещей в одной руке и связкой книг («Гаргантюа и Пантагрюэль», «Путешествия Гулливера», десяти томник Эдуарда Успенского) в другой. Был конец февраля. Я вспомнила, что недалеко от Константина живёт мой двоюродный дядька Шатунов и его жена тётя Гадэль. Я была у них как-то, один раз. Нашла их дом, у меня хорошая топографическая память, нашла квартиру, постучала. Мне хотелось есть, дискуссия о детском порно отняла немало сил. Открыла тётя Гадэль, Шатунов обрадовался мне, тётя Гадэль подогрела солянку, налила мне, пригласила за стол. Я ела солянку, а тётя Гадэль вещала:

— Сегодня ты можешь переночевать у нас. Но остаться ты не можешь — у тебя было много мужчин, мало ли что. И в общежитие я тебя устроить не могу — с твоим образом жизни...

Я видела тётю второй раз в жизни, она меня тоже.

Тётя Гадэль намекала на то, что я могу принести заразу.

Я ела, мне очень хотелось есть.

Я ела и думала: вот бы ты сейчас раздулась от своей важности и лопнула. Потом Роулинг каким-то образом считала мои мысли, Роулинг описала раздувшуюся тётю так, как будто проникла ко мне в голову и сняла там фильм, а потом записала его в деталях.

Я не просилась к ним пожить, не просилась ночевать. Я просто хотела поесть. И рада была, что дотащила сумку с вещами и книги и что есть возможность побыть в спокойном месте.

Я доела солянку, сказала спасибо, взяла сумку, книги и вышла, поехала к Славе на другой конец города.

Утром пришла к замдекана, он позвонил в общагу, и мне выделили там место, хоть я и не была студенткой, была вольным слушателем.

Устное народное творчество мне нравилось и старославянский язык.

Баба Яга, пограничница Баба Яга, представленная в сказках для детей чуть ли не дурочкой, впечатляла более других. Бабусенька Ягусенька. Я знакома была с одной. Года три мне было, шли с мамой, с бабушкой шли и с Геннадием Павловичем по городку по нашему, который тогда ещё не был догвиллем, шли куда-то, я увидела старую-старую

женщину, горбатую, она сидела на лавочке, вращала головой. Я спросила у всех сразу: кто это? Я удивилась, что бывают такие горбатые старые женщины; все люди, которых мы встречали по пути, выглядели иначе, эта была особенная.

— Кто это? — спросила я.

Геннадий Павлович, мой дядя Геннадия, мог бы и промолчать, но он сильно любил отвечать на мои вопросы, отвечал он не так, как все, но слова его невозможно было подвергать сомнению: его ответы были самыми понятными, ему тоже было три года, когда он говорил со мной, он знал детский язык даже лучше бабушки.

— Это Бабусенька Ягусенька, — сказал дядя Геннадия.

Поравнявшись со старой женщиной, я громко сказала:

— Здравствуйте, Бабусенька Ягусенька!

Меня научили здороваться с людьми, а Ягусенька мне понравилась, захотелось поздороваться.

Ягусенька зафиксировала взгляд на мне и ответила:

— Здравствуй, девочка.

Ягусенька засмеялась, я подумала, что она притворилась старенькой, на самом деле она молодая.

Мама с бабушкой тоже смеялись, но им было неловко, они стали говорить, что мне читают сказки, что из-за этого я так сказала.

— Нет, это не из-за этого, — сказала я. — Дядя Геннадия сказал, что вы Ягусенька.

— Я и есть Ягусенька, — сказала женщина, продолжая смеяться.

Лет через тридцать я стояла на остановке в моём родном маленьком городке, у меня было розовое красивое пальто, мне купил его Греков, волосы распустила, это красиво — длинные распущенные волосы, но не на ветру, а был ветер. На остановку подошли люди с маленькой девочкой, девочка показала на меня пальцем, губки её опустились вниз, она сказала:

— Баба Га.

И заревела страшным рёвом. Ревущую заволокли в автобус, ревела она всю дорогу, пока они не вышли на Вологдинке, ругаясь на меня. Я не ругалась в ответ, мне было всё равно.

Дети мне нравятся почти все, я не вижу различий между взрослым и ребёнком; нет, есть одно различие — дети более уязвимы. Но мамы делают себе из них бронезилеты, многим мамам невдомёк, что ребёнок уязвим, мамы выкатывают коляски с младенцами на проезжую часть, выкатывают на жёлтый сигнал светофора, свято уверенные в том, что все водители, увидев коляску, притормозят. Мамаши ставят детей на подоконники, даже если это восьмой этаж или десятый: пусть ребёнок смотрит на мир, пока мамочка моет посуду. Они любят своих детей, они свято уверены, что рама сделана

крепко, уверены только на том основании, что если они любят своё дитя, то его любит и человек, сделавший раму, и этот человек обязан был сделать её крепко — все же ставят младенцев на подоконник, когда моют посуду. Так говорила мазайская Настя, когда потеряла ребёнка: восьмимесячный мальчик выпал из окна, пока она, Настя, мыла посуду. Мальчик выпал со второго этажа, умер мгновенно. Настя плакала, пила водку и на чём свет стоит материла ту тварь, которая сделала эту гнилую раму. Греков успокаивал Настю, я тоже, как могла, успокаивала, Мазай её бросил после этого, а должен был пойти и убить человека, который делал раму. Мазай её бросил с оставшимся ребёнком, она недоумевала почему.

Когда девочка лет пяти мочилась у меня под окном, я сказала об этом её маме. Мама сказала: ну и что — это же ребёнок.

Застав девочку за этим занятием в очередной раз, я закричала с балкона:

— Машенька, тебе змея в кунку заползла. Она всем заползает в кунку, кто под балконом писает.

— Нет, — сказала Машенька, — не заползла.

— А вот вечером посмотришь: сначала всё чесаться будет, а потом и поймёшь, что змея в кунке.

Больше я Машеньку у себя под окошком не видела — ни писающей, ни просто играющей.

Мама Машеньки ходит с ней по самой середине тротуара, Машенькина мама не знает, что по правилам уличного движения надо ходить по правой стороне тротуара, а может, и знает, но имела она все правила — она же родила, все должны знать о её репродуктивной опции, о том, что её репродуктивная опция работает, о том, что некий самец это оценил, о том, что у них был секс (да, Машенькина мама — секси), о том, что у неё есть плод секса, которому можно всё: мочиться на тротуар, визжать, выходя из дома, — Машенька не просто визжит, Машенька выражает эмоцию, о которой необходимо знать всем. В общем-то, Машенька мне не мешает, она ведь не мочится более у меня под окошками. Машенька мешает только голубям, прилетающим на аллею клевать пшено, которое разбрасывает для них Валентина. Машенька разбегается и несётся в центр пшена, в центр голубиной стаи, голуби поднимаются над землёй, Машенька визжит, выражает эмоции. Валентина стала кормить голубей рано утром, за гаражами, Валентина считает, что голуби — личности, считает, что у них есть право принимать пищу комфортно, без присутствия Машеньки.

Машенькина мама, не обнаружив голубей на аллее, сильно возмутилась: почему они перестали прилетать в то время, когда она гуляет с ребёнком («с ребёнком» — выделено голосом)? Но она так ни разу

не догадалась купить пшена, и Машенька визжит теперь по другим поводам, их у неё достаточно.

Я время от времени вижу в соцсетях фотографии детей: мамы, бабушки, реже папы и дедушки заявляют миру о том, что они мамы, бабушки, папы и дедушки. Я всегда ставлю красный лайк на фотографии детей: мои друзья плодятся и размножаются — значит, когда мои друзья умрут, моему потомству будет с кем дружить.

Как-то одна женщина пришла ко мне погадать. Она недавно родила второго ребёнка, девочку, а материнский капитал, который был необходим ей, чтобы раздать долги и поменять стойки в старенькой машине, материнский капитал, её законные деньги, ей не выдали, ей сказали: или на жильё, или на обучение ребёнку. Женщина пришла с вопросом: если она откажется от ребёнка, ей оставят материнский капитал? Она же родила.

Бабушка, когда рожала детей, не думала о материнском капитале, в то время государство не было таким щедрым и добрым, тогда все рожали для себя. Трое из бабушкиных шестерых детей родились в конце апреля — мае, через девять месяцев после её дня рождения, день рождения у неё в сентябре; моя мама родилась ровно через девять месяцев, день в день. Бабушка с дедом были романтиками. Когда родилась Лидия Павловна, маме было пять, мама захотела подержать сестрёнку, взяла, стала кружить, не удержалась на ногах и ударила Лидию Павловну головой о ручку комода. В голове осталась вмятина. Маму отвлекли, чтобы не испугалась, вмятина в черепушке Лидии Павловны со временем исчезла. Старшая сестра любила младшую, старалась песенку спеть, накормить. Накормила как-то яйцом — очистила варёное яйцо и затолкала ей в рот целиком. Полуторамесячная Лидия Павловна посинела, перестала дышать; вернулась бабушка, бабушка выходила всего на минуту, оставив старшую сестру с младшей. Вынув яйцо из Лидии Павловны, бабушка спокойно объяснила старшей дочери, что нельзя пихать посторонние предметы в рот младенцу.

Пятилетняя мама думала, что сестрёнке будет хорошо, если она съест вкусное яйцо.

ГЛАВА 8

Пятидесятилетний Олежок думал, что мне будет лучше в дурдоме. Он был с похмелья, требовал водки, чтобы я сходила за водкой, ночью, одна. Если я не хочу идти за водкой ночью одна — я его не люблю, следовательно, должна выметаться из его жилища немедленно, с вещами. К тому моменту я уже устала выметаться немедленно с вещами. Я залезла под стол и стала лаять. И собака моя стала лаять. Олежок сказал мне вылезать из-под стола, но я знала, чем это закончится:

он вытолкает меня за дверь, следом выкинет вещи, не все, только те, которые не представляют ценности для него, следом вытолкает собаку. Деньги следом за собакой не вытолкает, оставит себе, если найдёт — деньги были надёжно спрятаны в клубках для вязания. Я соберу с пола вещи, поставлю их в подъезде так, чтобы никто не видел, возьму собаку и пойду сидеть до утра в общагу напротив, там меня уже знают, пустят, дадут позвонить бесплатно. Я буду гостить у друзей неделю, возможно две, потом Олежок найдёт меня, скажет, чтобы забирала вещи, совместно нажитые мной, хоть я этого и недостойна, я приду за вещами, мы помиримся.

Я сидела под столом и лаяла, чтобы Олежок не приближался ко мне, я ждала, когда он уйдёт за водкой, чтобы можно было спокойно взять деньги и на такси уехать к друзьям с собакой, мне бы хватило времени, пока Олежок ходит за водкой. Олежок идти никуда не хотел.

Я переставала лаять, но снова начинала при приближении Олежка.

Олежок позвонил в скорую, потребовал психбригаду. Психбригада приехала через два часа.

Я объяснила гражданину в белом, почему сижу под столом. Олежок сказал: вы сами всё видите, она опасна, она угрожала мне убийством. Оставаться с разъярённым Олежком наедине или ехать в отделение?

Конечно же, ехать в отделение, отсюда подальше, сказала я.

Приехали в отделение, я сделала ошибку — подписала согласие на лечение, меня привели в палату, вкололи что-то, я уснула.

Проснувшись, вышла из спальни в палату. Палата была общая, в первый день вновь прибывших не будили к завтраку, можно было спать до обеда. До обеда оставалось полчаса, я, чтобы размять мышцы, стала делать зарядку. Ко мне присоединились ещё три женщины, стали копировать движения. В глазах стоял туман от стресса и от снотворного, но я продолжала делать зарядку, и женщины делали. Ко мне подошла санитарка, санитарка сказала, что зарядку делать не положено. Я сказала: я всегда делаю зарядку, когда просыпаюсь. Санитарка зарядила мне резиновой дубинкой по спине, снотворное приглушило ощущения от удара, я продолжила делать зарядку. Санитарка зарядила во второй раз, женщины, которые делали зарядку со мной, сбрызнули. Я продолжила делать зарядку. Появились ещё санитарки, меня утащили в процедурную и привязали там к кровати. Женщина, представившаяся врачом, что-то сказала медсестре, медсестра стала искать у меня вену. Я спросила

— Что вы хотите мне вколоть?

— Ты подписала согласие на лечение, — сказала медсестра, — не твоё дело, — сказала медсестра, — аминазин, — сказала медсестра.

Сутки я провела на вязках, так называется процедура привязывания пациента к кровати и вкалывания ему лошадиной дозы аминазина. — Будешь ещё зарядку делать? — спросила другая медсестра, сменившая предыдущую.

— Не буду, — сказала я и улыбнулась, подрезая телефон из кармана её халата правой рукой, пока она искала вену на левой.

Туалет в отделении не закрывался, женщины там и курили, и управлялись, всё одновременно. Я позвонила брату, родному моему брату, сказала забрать меня отсюда срочно. И положила телефон на пол. Прикурила сигарету, сделала две затяжки, бросила в унитаз — от лекарств курить не хотелось. Странная женщина, высокая, с глазами не то базедовыми, не то фасеточными, с короткой причёской, метнулась к унитазу, достала оттуда уже намокшую сигарету, посмотрела на меня недобро, спрятала намокшую сигарету в карман своего халата.

Кто нашёл телефон и сдал меня санитаркам — не знаю. Меня снова хотели утащить на вязки, но я совершенно спокойно сказала: через два часа за мной приедет брат. И вам придут кранты — вы пока не знаете, кто мой брат.

Надо мной смеялись, но на вязки не потащили. Минуты шли медленно, меня позвали в комнату свиданий. Я подумала, что пришёл брат, но это был Олежок. Олежок поговорил с женщиной-психиатром, Олежок был убеждён, что мне надо побыть в больнице минимум пару месяцев. Перегаром от Олежка несло за версту, я не знаю, как женщина-психиатр этого не заметила, либо демон «Л'Этуалья» нашептал ей на ухо, что перегар — это ерунда, а когда кто-то делает зарядку — надо лечить, не менее двух месяцев. Олежок оставил мне полпачки сигарет и сказал, что будет навещать, чтобы я вела себя хорошо, что лечение пойдёт мне на благо, сказал Олежок.

Я сказала ему: иди на хер, — и ушла в палату.

В палате были женщины, играющие в карты, они позвали меня играть на сигареты в дурака. Я выиграла у них девять сигарет и отдала обратно; за мной брат с минуты на минуту приедет, сказала я. Они посмотрели с недоверием, но не смеялись.

В палате была поэтесса, её бросил мужчина, и она поехала крышей — так она сказала. Поэтесса стала читать мне стихи, я не знала, куда от неё деваться, это было почти как вязки, она шла за мной даже в туалет, хотя она не курила, она читала стихи.

Позвали на обед. Давали какую-то бурду, после уколов есть не хотелось, я ковырнула второе ложкой, есть не стала, отдала и суп, и второе поэтессе, она набросилась на еду.

После обеда за мной пришёл брат, брату меня отдавать не хотели, сказали: у неё муж есть.

— Никакой он не муж, — возмутился брат, — сожитель он, вы бы документы его посмотрели. Я в министерство пожалуюсь, — сказал брат, — вас поувольняют всех за такое отношение к вашим обязанностям.

Брат подписал бумагу, что несёт за меня ответственность, а психиатры не несут. Мы вышли из дурдома, где я провела почти трое суток.

Брат был на тот момент студентом. Если сегодня кто-то захочет утащить меня на вязки — знайте: у меня есть брат.

Я помирилась с Олежком, но помирилась только затем, чтобы убить его как можно более затейливо, даже не убить, а затейливо напугать тем, что он через минуту умрёт страшной смертью, неминуемо, и чтобы прошла минута, а он не умер, но почувствовал себя униженно, и чтобы я видела его унижение; я хотела вколоть ему воду и сказать, что это яд и противоядие надо просить у меня, мне хотелось, чтобы он просил противоядие; но мне не хватало помощника, который держал бы Олежка, чтобы тот в ответ не убил меня: всегда есть вариант, что человек сам не хочет жить и готов утащить на тот свет другого, чтоб не скучно было.

Олежок затягивал; Олежок моментально забывал обиды, которые я ему нанесла, когда у него менялось настроение; Олежок был великопылен, когда рассказывал смешные и грустные истории из своей жизни; Олежок умел делать сюрпризы, прилагать усилия к тому, чтобы сделать их незабываемыми, но мог и чистосердечно забывать ненужное; Олежок забыл, что вызвал мне психбригаду, нет, это не он вызвал, они сами приехали и забрали, система несовершенна, система забирает в дурдом нормальных людей, а я нормальная, не может же Олежок жить с ненормальной.

Может ли нормальный человек выйти из дома в пижаме? В красивой пижаме, в удобной пижаме, недалеко выйти, в кофеенку, чтобы употребить чизкейк и выпить кружечку какао поутру?

Я думаю, может, Олежок ведь признал, что я нормальный человек, и девочка-официантка никак не отреагировала на пижаму, девочка принесла заказ, оставив меня наслаждаться.

В кофеенку вошли две дамы, одна из них — моя клиентка, вторая с нею. Дамы были хорошо одеты, укладки на головах, аксессуары в цвет. Моя клиентка прошла мимо меня бочком, я едва услышала её тихое «здря», оно означало «здравствуйте», дама выкрала звуки из произносимого слова, чтобы слово было короче, чтобы её спутница не заметила, что она здороваётся с женщиной в пижаме. Потом дама прислала мне сообщение: «Оленька, я так рада была вас видеть! Жаль, что не удалось поговорить, — я была со своей начальницей». Она как бы оправдывала своё «здря», ей было неловко, но ещё более неловко было здороваться с женщиной в пижаме. «Тоже рада была вас видеть», — написала я в ответ, я принесла жертву демону её «Л'Этуалья». Мне не хотелось тратить время на обсуждение её неловкой ситуации, связанной с моим внешним видом.

Бабушка ходила в халате и в кофте поверх халата; сколько её помню, она всегда ходила так, и все с ней нормально здоровались, не «здря», ещё

и поговорить останавливались, редко когда можно было дойти с ней до магазина менее чем за полчаса, а магазин находился в пяти минутах ходьбы от её дома (Ленина, сто пятьдесят четыре, квартира четыре).

Но бабушка любила общаться, я же не очень люблю общаться вне рамок своей семьи и работы, поэтому решила, что буду ходить в пижаме всегда, на случай, если встречу клиентку, которая будет рада меня видеть, но постесняется подойти.

У меня есть одежда помимо пижамы, я люблю хорошую одежду, но более как факт, как символ, когда надо показать людям, что я в статусе, когда мне небезразличен мой статус. На церемонию вручения премии за роман я куплю себе платье и туфли, возможно, схожу в парикмахерскую, мне сделают укладку, зальют её лаком, чтобы держалась. Я умею носить и платья и туфли, более того — мне удобно, только вопросы статуса никогда не волновали, не волнуют и сейчас. Вопрос привлекательности — другое дело; когда познакомилась с мужем, наряжалась для него месяца два, пока не сказал, что любит, в кровати наряды не нужны, и когда суп варишь — в них неудобно. Излишества в одежде люди практикуют для того, чтобы произвести впечатление. Да, я могу, если надо. Замуж, например.

Вот у Грекова зрение плюс двенадцать. С ним было хорошо жить. С мужем тоже хорошо — он не заморачивается выбором подарков, просто идёт и покупает украшения, я не посещаю столько мероприятий, сколько у меня украшений; в принципе, часть украшений можно продать и выдать себе премию за роман. Можно попросить мужа, чтобы прочёл роман и выдал премию за него. Купить красивое бельё, шампанское, надеть украшения и провести церемонию вручения премии — дома. Наш дом — наши правила.

ГЛАВА 9

«Мой дом — мои правила» — постулат незыблемый, когда живёшь у кого-то или просто вписываешься; владелец жилья, квартировладелец, рано или поздно начинает дирижировать тобой посредством этого факта. Самая длительная моя вписка — четыре месяца, меня приютил художник, ему было скучно, компаньонка была нужна, хорошим хотел себя ощутить; он снимал жильё, его выгнала жена, художник любил то Инну, то Алину, то обеих сразу. Художник делился со мной своими переживаниями, я делилась с ним своими, так и жили; потом я ему надоела, моё присутствие надоело, он стал собирать шумные ночные компании, я лежала с температурой, когда они били в тарелки, как в барабаны, пели песни и улюлюкали, радостные, но скорее просто возбуждённые водочкой и травой. Я вышла, сказала:

— Ребята, у меня температура.

Одна из девочек сказала:

— Выздоровливай.

Остальные смеялись, художник тоже смеялся.

Выздоровев, я познакомилась с Олежком, гадалкой стала за четыре месяца до этого.

Когда у кого-то появляется власть над другим, когда этот кто-то ощущает уязвимость другого, он начинает дирижировать — это вопрос времени. Времени для того, чтобы осознать свою значимость, своё величие в связи с благотворительностью, много никогда не надо. Квартировладелец, квартирохозяин начинает ощущать себя директором вашего идеального мира уже наутро, если с вечера вы с ним не переспали, а просто душевно поговорили. Уже наутро квартирохозяин начинает как бы невзначай переставлять предметы, вспоминает, что давно планировал генеральную уборку, включает музыку погромче, квартирохозяин делает вид, что всегда слушает музыку так. Ему неловко: ещё вчера он, как и вы, хотел мира во всём мире, свободы, равенства и братства, сегодня же он вынужден включать музыку погромче. Нет, он не намекает вам ни на что, он всегда так слушает. Вы берёте сумку и идёте дальше, вы улыбаетесь квартирохозяину, спасибо большое, говорите вы и идёте дальше.

Когда к Грекову, с которым мы на тот момент жили, постучала Олеська Андропова, та, что заразила всех сифилисом, когда я увидела, что она с сумками, мне захотелось прикинуться каким-нибудь невидимым предметом, прикинуться своим двойником, сказать Олесьеке, что я её впервые вижу, что я не я, а моя сестра-близнец.

Я впустила Олесьюку, она работала на колхозном рынке, торговала на азеров, азеры забрали у неё паспорт, денег не заплатили, с предыдущей вписки её выгнали: иди, сказали, куда хочешь. Она запомнила наш адрес, да, мы виделись некоторое время назад на колхозном рынке, да, она торговала.

Олесья ходила тихо, тихо вставала, тихо сидела, пока я спала, Олесья делала по дому всё: готовила, стирала, гладила, мыла полы, вымыла даже все окна, Олесья безропотно ела макароны и только макароны; когда Греков приносил что-то лучше макарон, Олесья отказывалась.

И всё же Олесья дико раздражала, она раздражала, не нарушив ни одного из правил моего дома.

Я не дирижировала. Не потому, что не умею, всё я умею, не потому, что люблю всех людей в мире, нет, это не так. И уж тем более не потому, что хотела быть доброй. Я даже не эмпатировала. Я не дирижировала потому, что ниже моего достоинства делать это с человеком настолько уязвимым, как тогда Олесья. Через месяц Олеськиного проживания с нами Греков принёс её паспорт и деньги. Греков всегда был волшебником. Греков и сейчас волшебник.

Олесья предложила нам денег за проживание, мы не взяли, она купила нам еды и уехала обратно в догвилль к маме.

Мной не дирижировала только тётя Валя, которая уехала в Израиль, тётя Валя попустительствовала, она считала нас умными, хорошими, наивными детьми, которых время от времени надо кормить. Меня, Славу и Митю, своего сына, такого же дурачка, как и мы. Выпить мы находили сами, мы пили, сидя у Мити в комнате, и говорили за жизнь. Тётя Валя приоткрывала дверь, осторожно заглядывала в комнату, спрашивала:

— Пьёте? — констатировала: — Сволочи, — закрывала дверь, а мы боялись быть застуканными с сигаретой.

Вообще-то кормил нас Митин отец, муж тёти Вали, он зарабатывал нам на пропитание, но готовила-то тётя Валя, к столу звала тоже она, Валентина Ивановна, а Митин отец, думаю, мирился с тем, что ему приходится кормить банду тунеядцев. Когда его не стало, тётя Вале нечем было нас кормить. Слава тогда торговал книжками, мы жили тогда уже не у тёти Вали, приходили в гости к Мите пить, курить, говорить за жизнь. Слава всегда приходил с чем-то съедобным, а тётя Валя всё равно приглашала к столу. У меня денег не было, я старалась не есть, ни разу мои старания не увенчались успехом.

Тётя Валя не дирижировала. Но именно она сложила песню о многих мужчинах, пропела её тётя Гадели, а тётя Гадель с успехом мне её ретранслировала под солянку.

Сейчас я сижу в гостинице на горнолыжной базе, вспоминаю это, записываю в телефон. Я представляю себя писателем, я ведь пишу роман, в телефоне, но кто об этом знает? Может, у меня модный ноут с яблоком, может, «Паркер» с золотым пером. Возможно, я заказала в номер капучино и устриц, вероятно, я пью шампанское, может, я вызвала двух юных мулатов, может, они песню сейчас поют и машут надо мной опахалом, — кто знает, как правильно сделать, чтобы стать писателем? Я не знаю, как правильно, у меня пакетированный «Гринфилд», чайник, который выдала женщина-администратор, и упаковка бубликов яичных, я купила бублики по дороге, не знала, что купить, не могла понять, чего хочу, и взяла яичные бублики. Завтра я встану на горные лыжи, хотя можно просто погулять, подышать воздухом. Но я хочу встать на горные лыжи, сделать фото, опубликовать его на «Фейсбуке», маленькая Софочка приедет, привезёт нормальной еды и сделает фото меня на горных лыжах. Как на них ехать?..

— Змейкой, — сказал мой младший брат, — змейкой.

Вот и поеду змейкой.

А пока пью чай, ем бублик.

— Бубликов ей купи, карамелек, она карамельки любит очень, — бабушка так сказала, когда инструктировала по поводу тётки Матрёны.

В то время я всё ещё думала, что могу расставлять буквы профессионально, но уже на все темы написала. Спросила у редактора: что ещё можно написать, чтобы не скучно было ни мне, ни читателям? — Найди старого человека и спроси, как он жил, — сказал главный редактор.

Я подумала: скучно, старые люди — это скучно, спросила у мамы, может, знает кого. Мама сказала: да, знаю — у бабушки есть тётка, тётка Матрёна, ей девяносто лет.

Я приехала в догвилль, не специально, я часто тогда ездила в догвилль по своим делам. Пришла к бабушке, сказала отвести меня к тётке Матрёне, тётка Матрёна жила через дорогу.

— Только пойдём ей купим что-нибудь, а то с пустыми рукам неловко, — сказала бабушка.

Пришли в магазин, купили карамелек разных помаленьку и этих вот бубликов. Бубликов яичных.

Тётка Матрёна, Матрёна Ивановна Селиванова, открыла почти сразу, спросила кто и открыла, настоящая Бабусенька Ягусенька, в байковом халате, в кофте, в платочке. Тётка Матрёна поставила чайник, чайник вскипел, она налила чаю — себе и гостям.

— А что рассказывать-то? Нечего рассказывать, — сказала тётка Матрёна.

Ей было не девяносто лет, ей было девяносто пять или девяносто шесть — она не знала, знала только, что записали её лет через пять или шесть после того, как она родилась.

Она когда-то была замужем, замуж вышла довольно поздно, родила девочку. Коров у них отобрали, все коровы принадлежали колхозу, содержались в колхозном коровнике, где Матрёна и работала дояркой. Матрёна брала свою трёхлетнюю дочку на вечернюю дойку и тихонько наливала ей кружку молока, чтобы девочка пила парное молоко. А за Матрёной ухаживал председатель колхоза, он не мог добиться взаимности и злился. Как-то председатель пошёл за Матрёной на дойку и увидел, что её дочка пьёт колхозное молоко. Председатель дал ход делу. Сначала Матрёна находилась в деревне под следствием, председатель к ней приходил, говорил, что всё можно остановить, если Матрёна будет к нему благосклонна. Матрёна не смогла себя пересилить. Её судили, осудили по пятьдесят восьмой статье как врага народа (исторический маркер «колосок», год был 1937-й).

Матрёна вместе с другими врагами народа отправилась строить город Норильск. Жили в бараках, от барак до стройки на зиму натягивали тросы. Держась за тросы, можно было почти безопасно добраться до стройки в любую метель, метели там сильные, на расстоянии метра ничего не видно, там полярная ночь зимой и метели. Важно было держаться за трос. Многие не добирались до стройки или

не добирались до барачков: если отцепиться от троса и отойти от него на расстояние большее, чем на расстояние вытянутой руки,— всё.

Восемь лет Матрёна строила Норильск, до конца войны. Потом перевели в другой лагерь, а в пятьдесят третьем амнистировали.

Матрёна отправилась искать дочь, о которой ничего не знала с момента оглашения приговора. Муж её погиб в сорок первом году, на войне.

Дочь забрали в детдом. Дочь сгинула, тётка Матрёна не знает, жива ли она, была ли жива на момент её освобождения. Зато Матрёна нашла внучку, девочку, которую родила пропавшая дочка, и вырастила её. Матрёна когда приехала в город (место ссылки декабристов), на неё смотрели косо, как на врага народа, она смогла устроиться уборщицей и вырастила внучку, внучка была оторва, они жили вместе, внучка чуть младше моей мамы. Это внучка наводила порядок в их неблагоустроенном доме, внучка стирала, полоскала бельё на Енисее, внучка-оторва родила Ванду, перед тем как родить, выходила замуж, потом разошлась. Тётка Матрёна вырастила Ванду, внучка её то работала, то ходила замуж; в общем, Матрёна Ванду вырастила, а когда мы с бабушкой пили чай у Матрёны, в кроватке посапывала семимесячная дочка Ванды. Праправнучка тётки Матрёны.

— Да рассказать мне вам особо нечего,— говорила тётка Матрёна, размешивая сахар в чае, она пила чай с сахаром и с конфетами одновременно, она сказала, что когда была в лагерях, очень скучала по сладкому и теперь пьёт чай и с сахаром, и с конфетами.

Матрёна Ивановна взяла кочергу, пошурудила в печке, подбросила пару поленьев и сказала:

— Нечего рассказать-то.

Проснулась дочка Ванды, Матрёна с бабушкой стали с ней возиться, а про меня забыли.

В тридцать седьмом году не было никакой толерантности, был Сталин.

ГЛАВА 10

«Ты хуже Сталина»,— как-то написал мне Вадик смс-сообщение.

Всякий раз, когда мне становилось грустно, я звала в гости Вадика. Как-то написала ему, что у подруги свободная квартира, и я, уже надевшая красное кружевное бельё, пью вино, намазываю икру на хлеб и разглядываю в зеркало своё отражение, особенно мне нравится, как выглядят чулки. Приезжай, сказала я Вадику, не хватает только тебя. Вадик написал, что поздно, автобусы уже не ходят. Приезжай на такси, написала я. И отправила адрес в Черёмушках, Черёмушки отовсюду далеко. Вадик написал, что у него нет денег. Я написала, что у меня есть. Не знаю, почему Вадик подумал, что я готова оплатить

ему такси, не знаю, как эта мысль сформировалась у него в голове,— я просто написала, что у меня есть деньги.

Вадик вызвал такси и поехал по адресу. Приехал, меня не обнаружил, я написала: ой, извини, я перепутала, это не Черёмушки, это Энергетики,— и дала адрес в Энергетиках. В Энергетиках этого адреса не оказалось, я вообще ни разу в жизни не была ни в Черёмушках, ни в Энергетиках. Вадик, у которого не было денег на такси, но бабу в чулках хотелось, Вадик, которому хотелось на шёлковые простыни моей несуществующей богатой подруги, кружил по Черёмушкам и Энергетикам в поисках заявленного мной адреса. Накатал на какую-то страшную сумму, вернулся в город, занял её у кого-то, заплатил таксисту и пошёл домой спать. Я в это время сидела дома, у Олежка дома, и отвечала на Вадиковы смс. У него всегда были подключены бесплатные смс, он никогда не звонит, звонки у него платные, а смс бесплатные. Звонит он в крайних случаях, мне ни разу не звонил за всё время знакомства.

«Ты хуже Сталина»,— написал мне Вадик бесплатно. Он занял денег, написал он мне бесплатно для чего-то. Меня никогда не интересовали его денежные потоки.

Это был первый раз, когда я пригласила Вадика в гости.

Всякий раз Вадик ехал в гости, не находил меня там, обижался, переставал писать смс, потом я писала их сама, Вадик всё прощал и снова ехал в гости, и снова меня там не было.

Сполгода назад мне снова взгрустнулось. Вадик за время знакомства со мной успел жениться, развестись, страдать, он даже снимал квартиру, чтобы сохранить свой брак, «двушку», снимали в складчину с двумя мужчинами, с одним из них жена Вадика ему изменила, и им пришлось развестись — по инициативе жены.

Я ушла от Олежка окончательно, телефон мой играл «Прощание славянки», когда я уходила от Олежка, маленькая Софочка тому свидетель, Слава и Барсук. Я вышла замуж, разводиться не собираюсь. Вадик знает мужчину, за которым я замужем, он уважает институт брака в принципе, трахаться с замужними считает неэтичным, тем не менее Вадик поехал ко мне в гости, я сказала, что нахожусь у Олежка, который лежит в больнице, а я поливаю цветы у него дома, у меня есть ключи, квартира свободна. Стеная и охая по смс, перемежая стенания словом «этика», Вадик поехал. Не доверял, задавал каверзные вопросы, но поехал, недалеко от Вадика живёт Олежок, ой, недалеко.

Вадик долго звонил в дверь, писал мне, что приехал, я писала: ой, я в ванной, подожди секундочку.

Вадик подождал. В подъезде, за железной дверью, раздались шаги. Дверь открыл Олежок, шестидесятипятилетний человек, перенёсший

три инсульта, алкогольную энцефалопатию, но не потерявший чувства юмора.

— А где Оля? — спросил растерявшийся Вадик у Олежка.

— Я Оля, — ответил Олежок. — Видишь, какая я стала, пока тебя ждала.

Вадик написал: ладно, я привык.

У Вадика всегда был выбор, ехать или не ехать, так что сравнение меня со Сталиным, тем более в пользу последнего — очевидный перебор, я не отдавала приказов отправлять на строительство Норильска женщину, поившую ребёнка молоком, я просила Вадика приехать в гости, мне важно было знать, что он едет ко мне в гости.

Я не зову больше Вадика в гости, наскучило, надоело, мой любимый современный поэт, Фомин его фамилия, по странному стечению обстоятельств моего любимого поэта зовут Вадимом, так вот, он как-то написал: «Смысл отношений, что не ведут ни в кабак, ни в кровать». Нет смысла в этих отношениях, нет смысла отвечать на смс Вадиковы, я отвечаю, односложно, но смысла в этом не вижу, и смс у меня платные. Надоело видеть Вадика во сне и думать о том, что, возможно, он меня приворожил, — надоело.

А началось-то с ерунды. Через несколько месяцев после моей истерики я позвала Вадика в кафе, поесть, не могла тогда есть одна, есть хотелось, но не могла. Взяла много еды, салат с фасолью взяла, жульен, блинчики, ему то же самое взяла. Я переоценила свои возможности, набрав много еды для себя. Я осилила салат и половину блинчика. Предложила Вадиду доесть, он доел, потом вылизал соус из креманки, языком вылизал, он облизал формочку из фольги, в которой делают жульен. Я умею пользоваться приборами, пользуюсь, мне удобно. Я не разглядываю, кто как ест, вылизывание посуды меня скорее умилило, я сначала не заметила, потом забыла. А через некоторое время добрые люди доложили, что я соблазняю Вадика посредством кормления, что я пригласила его в кафе, оплатила ужин — точно соблазняю, точно ухаживаю, Вадик рассказал об этом всем, жульен, блинчики и салат — это, конечно, не штаны за семьсот, но это явный признак того, что женщина ухаживает за мужчиной. Вадик, который считает свою квартиру родовым гнездом, себя, в зависимости от настроения, рыцарем либо дворянином, рассказал всем о том, что я его добиваюсь посредством кормления.

Вадик сплетничал, обсуждал отношения со мной, отношения, которых никогда не было, и с Моникой, и с толстым Пашей.

Да, я пригласила его в гости на шёлковые простыни — ему же надо что-то рассказывать людям в своём идеальном мире. И приглашала

всякий раз, когда до меня доходили слухи о наших с Вадиком отношениях, которых не было. А потом надоело.

— Надоело, — ответил Ванечка на мой вопрос «почему».

Ванечка полгода еженедельно ходил ко мне узнавать будущее, когда я жила с Олежком первый год. Ванечка был очень бедно одет, ему было около тридцати лет, он был сирота и хотел лучшей жизни. Мы обсуждали с Ванечкой, как ему быть в той или иной ситуации, ситуации касались бизнеса, он купил продукт в сетевой компании, продавал его, старался, дела шли неважно, ему надо было выйти хотя бы в ноль. Жил Ванечка в каморке на стадионе, его приютили спортсмены, он был за уборщика, за дворника, ему немного платили. Но Ванечка хотел большего.

Ванечка был совсем один в мире, но мир его был идеален: людей он считал хорошими, в любую погоду был бодр и весел, он никогда не жаловался, ко мне приходил потому, что хотел развиваться, я ему говорила платить половину за гадание или не платить вовсе, у него было мало денег. Ванечка всегда платил полную стоимость часа, ещё и шоколадку мне приносил.

Я в душу ему не лезла, но было любопытно, почему такой человек светлый — и один.

Ванечка рассказал. Детство и юность он провёл в психиатрическом интернате, недавно его оттуда выпустили.

— Ванечка, как ты попал в интернат? — спросила я.

Ванечке было шесть лет, когда он убил своих бабушку и дедушку. Сначала Ванечка убил дедушку: дедушка спал, Ванечка принёс в дом большой камень и бил камнем дедушку по голове, пока тот не умер. Потом пошёл в комнату бабушки, то же самое проделал с ней. И лёг спать.

— Ванечка, почему ты это сделал? — спросила я.

— Надоело, — сказал Ванечка.

Бабушка и дедушка били Ванечку, сына своей сильно пьющей дочери, ежедневно и сильно, били за всё — за задержку в развитии, за любой издаваемый звук, за то, что молчит. Били ремнём, палкой, руками били, пинали ногами. У Ванечки болело всё тело, всегда, болела голова, бабушка старалась бить по голове, ей нравилось бить Ванечку по голове.

В тот день Ванечку били больше, чем обычно. Он дождался, пока бабушка с дедушкой заснут, убедился в том, что они спят, вышел во двор, нашёл камень потяжелее, вернулся в дом и убил дедушку с бабушкой. И стал жить в идеальном мире, его никто не бил несколько дней, пока соседи не хватились дедушки и бабушки, добропорядочных жителей их маленькой деревни.

Ванечку забрали в специнтернат как серийного убийцу, малолетнего серийного убийцу. Ванечка не проявлял агрессии, его отпустили, провёл он в интернате больше двадцати лет.

ГЛАВА 11

Двадцать лет, тридцать, пятьдесят, сто — какая разница? Бытует теория, согласно которой всё происходит одновременно, здесь и сейчас. Беру ли я эту теорию на вооружение, не записывая события в их хронологическом порядке? События происходили не в той последовательности, в которой записаны. Не искажает ли отсутствие чётких хронологических указателей достоверности повествования? Перестает ли бабушка быть бабушкой в зависимости от её расположения в тексте? Роман мой о бабушке, это очевидно. Это моя бабушка, она имеет полное право быть в любом месте моего романа, в любое время, в котором я хочу её видеть, ощущать её присутствие, в любом месте, где она захочет появиться. Это не вопрос структуры повествования, бабушка будет жива, покуда у меня хватит воспоминаний, пока хватит места в памяти телефона, чтобы их записывать. Когда закончатся воспоминания, я смогу читать их в телефоне, много раз смогу читать, а значит, бабушка будет всегда. В шестнадцать лет я думала, что бабушка будет всегда, в шестнадцать лет у меня произошёл первый мужчина, и на шестнадцатилетие Владимир Павлович подарил мне готовальню. Про первого мужчину я напишу как-нибудь пост в «Фейсбуке», а готовальня была большая, синяя. Владимир Павлович, дядя Володя, пил беспробудно, уже тогда он пропивал предметы из дома, но он мне купил готовальню, заблаговременно, он готовился к моему шестнадцатилетию, готовальня была дорогая, он вручил мне её на день рождения, я любила математику, было бы лучше, если бы увлеклась математикой, не графоманией, но графомания оказалась ближе.

И Владимир Павлович любил математику, к нему, даже к пьяному, приходили школьники с родителями и просили решить задачку, подготовить к экзамену просили, он никому не отказывал. Математика была для него ценной, физика была для него ценной и шахматы, и он подарил мне готовальню, он передал ценность, я и в шестнадцать это понимала. Первый мужчина подарил цветы, их сложно было достать зимой в маленьком городке (место ссылки декабристов), а Владимир Павлович — готовальню, которая нужна была как козе баян, но я едва не разрыдалась, когда дядя Володя подарил готовальню.

Цветы ещё больше не нужны, а я радуюсь, когда дарят цветы, но все цветы, которые мне когда-либо дарили, которые когда-либо подарят, я обменяла бы на ту готовальню.

Всегда знала, что поторговаться можно, иногда это даже необходимо, когда покупаешь вещь на китайском рынке или происходит принятие важного решения — кто моет посуду. Иногда увлекаюсь и начинаю торговаться со временем, начинаю думать: что я, Оля Гуляева, могу предложить времени взамен на Вову, на папу, на бабушку, хотя бы на один дополнительный год, день? Я предлагаю

стишок, способность писать стишок, премию за стишок, многое другое предлагаю, мне есть что предложить времени, но время никогда меня не слышит, ему всё равно, время не усматривает ценности ни в стишках, ни в премиях за них.

Время дирижирует похлеще любого из известных мне квартирохозяев, только бесхитростные потребности квартирохозяина понятны, как понятно и то, почему люди так редко друг друга слышат.

Я гадалка, у меня клиенты, но в основном клиентки, они хотят сохранить брак, которому давно кранты. Если понимают, что брак сохранить не получается, хотят подчинить своей воле мужчину, который некогда был любимым. Браки распадаются потому, что люди друг друга не слышат, каждый из двоих живёт в своём прекрасном идеальном мире, он не желает пускать в этот мир другого, охраняет территорию от другого, территорию своего душевного и физического комфорта, любые попытки сделать эту территорию совместной заканчиваются военными действиями. Взять Эллу, десять лет назад была Элла. Элла заказала приворот на мужа, чтобы муж, который почти уже ушёл к молодой любовнице, вернулся к ней, к Элле, чтобы любил как прежде, чтобы внимание уделял, обеспечивал. Месяца три ходила Элла, все три месяца плакала, жалко терять мужа, годы жизни, лучшие годы её жизни ушли на то, чтобы стирать ему и готовить. Однажды муж пришёл домой радостный, неделю до этого не приходил, а тут пришёл. Муж сказал Элле: собирайся, мы едем отдыхать, я купил путёвки, в Египет едем.

Элла утюжила бельё, она рассердилась на мужа — муж с ней не посоветовался, когда покупал путёвки, она предъявила мне претензию за плохо сделанный приворот — муж должен был посоветоваться с ней, с Эллоу, прежде чем проявить чувства, прежде чем лезть со своими объятиями. Муж видел, что она занята, видел, что она гладит бельё, он проявил неуважение, когда пришёл домой с путёвками.

Я сказала ей тогда, что чувства — это одно, а формы их проявления — это совсем другое; чтобы муж проявлял чувства в форме, удобной и понятной Элле, надо с ним говорить.

— Как это — говорить? — возмутилась Элла. — Я вам деньги не за то плачу, чтобы с ним говорить, он сам понимать должен.

За двадцать лет совместной жизни они ни разу не говорили о чувствах; у них двое взрослых детей, зачем им говорить о чувствах? Взрослые люди должны и так всё понимать. Функционал свой должны понимать. Элла утюжит бельё, муж с ней во всём советуется. Муж идёт к любовнице — Элла молчит.

У Славы была клиентка, она подозревала, что муж ей изменяет, подозревала на основании расклада, который сделала ей знакомая

ворожея. Женщина приковала мужа наручниками к кровати, он думал, что она затеяла игру, дал себя приковать. Она насильовала его резиновым членом два дня, а когда освободила — он ушёл к маме, в халате и в тапочках, зимой. И не вернулся.

— Вы вернёте его мне? — спросила женщина.

Слава сказал: нет, не могу. Слава, который умеет белить потолок, Слава, который выписал восьмерым азиатам справку о временном крещении, пока те находятся на территории нашей страны, отказался возвращать мужа женщине, которая даже не спросила его об измене, женщине, которая насильовала его, приводя в качестве доказательства его неверности слова ворожеи.

Не всегда приходят, чтобы заставить мужа себя любить. Стелла, пенсионерка, пришла, чтобы приворожить дочь, которой не дала имущества, отдала всё, что могла, её брату, который, получив имущество, стал относиться к ней плохо под воздействием невестки, которая сто процентов его приворожила. Стелле надо было вернуть дочь, она сожалела, что имущества более нет, но попыток заставить дочь себя любить не оставляла: кому, как не дочери, заботиться о матери в старости?

Я сказала Стелле:

— Всё ведь просто: скажите ей, что любите её, что сожалеете о несправедливом дележе имущества.

— Я не могу ей сказать, что люблю, — сказала Стелла, — она меня уважать перестанет.

— А вы говорили ей это когда-нибудь? — спросила я.

— Нет, — гордо ответила Стелла, — даже в детстве не говорила.

— А вы любите её? — спросила я.

— Да, — сказала Стелла, — я это чувствую, вот здесь, — и провела ладонью по груди, по тому месту, где у неё душа.

Стелла так и не сказала дочери, что любит её. Потому что если сказать это, дочь на шею сядет.

Стелла не пожелала рушить гармонию своего идеального мира из-за пустых слов, она предпочла обратиться к другой гадалке, чтобы та воздействовала на дочь и вернула ребёнка матери силой. Говорить, тем более о любви, — ниже достоинства Стеллы.

ГЛАВА 12

Мы с Грековым говорили постоянно, обсуждали себя, телевизор, людей по ходу нашего движения, обсуждали знакомых, родственников, обсуждали всё, что видели, о чём слышали. Нам периодически было нечего есть, мы ходили к его двоюродному брату в гости, к Диме, он не был маргинал, он был приличный человек, он ходил на постоянную работу, с девяти до шести.

Дима был рад нам, рад возможности показать своей жене Маше, что он круче Грекова, который не один ест по гостям, но и женщину свою за собой тащит. Дима ехидничал, ниже пояса ехидничал, и по поводу плюс двенадцати ехидничал: только такую, как я, можно выбрать, имея зрение плюс двенадцать. Мы ели, нам было всё равно, есть надо, это физиология. Поев, мы оставались ещё на час, для приличия. Дима, разомлевший от еды, переходил с грековской личности на Кутину. Кутя была собака, болоночного вида, она была значительно более уязвима, чем мы с Грековым. Кутя досталась Маше, Диминой жене, от её матери, которая умерла, Куте было двадцать три года, чуть меньше, чем мне на тот момент, Кутя была очень старая. Не получив нашей реакции на высказывания, Дима, как козырь из рукава, доставал трясущуюся Кутю из её укрытия, помещал в центр комнаты и сначала тихо, но грозно, потом громко и грозно произносил:

— Скутер — хороший парень, Скутер — хороший парень.

Дима наращивал интонацию, усиливал её, по мере нарастания звука нарастала дрожь в теле Кути, и когда Кутя делала лужу, Дима, удовлетворённый, успокаивался.

— Дурак, — говорила Маша и шла за тряпкой.

Нам ни разу не удалось уйти до начала представления. Дом Димы был последним местом, где нам хотелось бы побывать, но мы шли к нему, шли, зная, что будет Скутер, хороший парень.

Это не Кутя делала лужу посреди комнаты, это мы её делали, мы понимали, что Кутя — это мы. Дима кормил Кутю и кормил нас — какая разница, кто делает лужу? Дима имел одинаковую власть и над нами, и над Кутей. Кутя — это наша с Грековым тайна, мы можем обсуждать это только друг с другом. Греков много сильнее Димы физически, но он ничего не делал, хотя мог, и я могла, я могла хотя бы презирать Грекова за бездействие, но не презирала.

Сейчас мы с Грековым поздравляем друг друга с днями рождения, это он придумал так делать, когда появилась мобильная связь. Греков массажист, у него кабинет, он не берёт с меня ни копейки за массаж, он компенсирует то, что недоподарил за время, проведённое вместе.

Как-то спросила у него, что ему подарили дети на день рождения, он сказал:

— Ну, пошли мы по магазинам, дочь увидела планшет, подарили ей планшет; чтобы предупредить конкуренцию за планшет, купили такой же сыну. Жене платье купили. Это, — сказал Греков, — лучший подарок.

Идеальный мир Грекова — когда он делает подарок. Греков значителен, когда делает подарок. Когда делают подарок ему, он тоже значителен, но когда он — он счастлив, всегда так было. Он Водолей и Собака по китайскому гороскопу, ему важно делать хорошее для людей.

Что же касается собак. В нашем маленьком догвилле в мои семнадцать у меня появился парень. Мы с ним ходили в гости к его приятелям, у них был частный дом, двор и собака во дворе, у собаки родились щенки. Щенков надо было топить, так все делали, щенки были уже большие, топить их никто не хотел, их решили оставить, их было трое. В гостях у этих приятелей оказалась Светка, взрослая женщина лет тридцати. Светка сказала:

— Я утоплю.

Принесла ведро с водой из огорода, поймала щенков и опустила в ведро. Зафиксировала их там рукой, чтобы не выплыли. Все оцепенели. Мой парень вскочил, одной ногой выбил ведро из рук Светки, испуганные щенки разбежались, другой ногой зарядил Светке в челюсть. Светка, попискивая, убежала.

— Утоплю, сука, тебя в этом ведре, если увижу,— кричал ей вслед парень.

В тот день мы с ним пошли к его бабке Полине на дровяник, а через девять месяцев появилась маленькая Софочка, правнучка моей бабушки.

Бабушку, когда она стала слабая, забрали мои родители, папа ей сделал поручни, чтобы она могла комфортно передвигаться по квартире. Маленькая Софочка успела пообщаться с бабушкой, она её немного побаивалась, у неё своя бабушка есть — моя мама, старенькую бабушку Софочка авторитетом не считала, хотя оставалась иногда под её присмотром. Кто ещё под чьим присмотром — непонятно.

Бабушка была в полном разуме, при памяти, ей было грустно, что пьющий Владимир Павлович остался один, её сын, её малыш. Она собирала мелочь, которая лежала у нас дома везде — на холодильнике, на полочках, на столе на веранде, она собирала её Владимиру Павловичу на сигареты, она очень беспокоилась, есть ли у него сигареты. Это был единственный странный момент в её поведении.

Она прожила у моих родителей около года, сильно беспокоилась за Владимира Павловича, просила увезти её обратно домой, на Ленина, сто пятьдесят четыре, квартира четыре.

Её увезли, она обслуживала себя, ей было спокойнее, когда Владимир Павлович при ней. Никакие аргументы не действовали на её материнские чувства.

ГЛАВА 13

«Похожа мама на игрушку, когда читает Интернет, игрушки ничего не слышат и ничего не говорят», — цитирует маленькая Софочка строки из Интернета, когда я в нём сижу.

У меня уже сто семьдесят девять друзей в «Фейсбуке», пора чистить ленту. Мои друзья — сообщество графоманов, таких же графоманов, как и я, нам не светят огромные тиражи и серьёзные

премии за наши буковки, но мы их почти ежедневно добросовестно транслируем в «Фейсбук», мы пишем буковки, читаем буковки, которые написали другие, ставим лайки или не ставим лайки, делаем вид, что не заметили текста. Я стараюсь ставить лайки на все тексты, которые читаю, если тексты не противоречат моим представлениям о том, какими должны быть логика и здравый смысл. Я одобряю все авторские тексты, ни фашистов, ни педофилов в моей ленте нет, поэтому можно ставить лайки, не читая, но чаще читаю — интересно. Я позволяю другим идеальным мирам проникать в мой, стихи у моих графоманов хорошие, я люблю стихи, если попадается плохой стишок, всё равно ставлю лайк — завтра автор напишет хороший, автор вправе получить от меня признание — пусть не текста, а его, автора, уникальной личности, которой не светит серьёзная премия. Не потому не светит, что автор слабый, но потому, что на всех премий не хватит, всем не дадут, а лайк — поощрение бесплатное, и хотя мой лайк не стоит дорогого, я его ставлю, и пусть все знают, что я одобряю, не важно, нравится ли мне стишок либо хочется подержать автора. Есть аккаунты, лайк которых дорогого стоит, мой не из них. Если кто-то получает премию, пусть маленькую, я ставлю красный лайк. Я не разбираюсь в литературе, я Пушкина люблю, но раз уж у меня есть идеальный мир, где люди не расчлениют друг друга, не превращают друг другу камнями головы в месиво, — я это одобряю.

Как-то на одном из творческих вечеров одна женщина, разбирающаяся в литературе, похвалила автора, устроившего вечер, — другую женщину — следующим образом.

— Ты пишешь в основном всякую ерунду, — сказала она, — но иногда среди этого ненужного потока слов бывают жемчужины, — сказала она, — поэтому, — разрешила, — пиши, я готова терпеть поток слов ради этих жемчужин.

Я бы ответила.

Хозяйка вечера улыбнулась и сказала спасибо женщине, разбирающейся в литературе.

Ёлки, мы живём здесь и сейчас, я либо принимаю, либо не принимаю, целиком, моё мнение о литературе никак не повлияет на способность автора составлять буквы. Хороший стишок, плохой стишок — время покажет.

Я составляю буквы, буквы составляют меня в глазах моего «Фейсбука», моего маленького идеального мира.

В одном интервью меня спросили про аватар в сети. Я рассказала про фотографию, которая на странице, рассказала про фотографа, который её сделал, рассказала, при каких обстоятельствах.

Если бы она тогда спросила про образ, который я создаю, я бы всё равно не поняла вопроса: в сети я такая же, как в жизни,— я идеальна, я соответствую собственным представлениям о том, как правильно.

Нет, в моей жизни не могло происходить неловких ситуаций, и Оля Завьялова, моя лучшая подружка, не позвала меня на день рождения, когда ей исполнялось восемь. Я тогда впервые сделала попытку создать идеальный мир, я сказала маме, что Оля позвала; мама отнеслась к моим словам с сомнением, тем не менее выдала рубль на подарок. Я купила подарок и пошла к Оле, в соседний дом. Постучала в квартиру, открыла Олина младшая сестра, сказала:

— Оля празднует с одноклассниками.

И закрыла дверь. Я стояла возле сосны, сосна росла на полпути от нашего дома до Олиного, я закопала подарок в сугроб, решила сказать маме, что была на дне рождения, я отстаивала свой идеальный мир, я билась за него до последней капли, слёзы я сначала глотала, потом захлёбывалась ими, я старалась, чтобы слёз никто не увидел, подавляла всхлипы, представляла, как Оля празднует свой день рождения, это было тринадцатое ноября, я вжималась в сосну, думала, что сейчас сосна меня поглотит и переправит туда, где Оля празднует свой день рождения, через корни переправит.

Я простояла долго, от Оли стали выходить гости, я, вытерев слёзы, пошла домой. Мама сразу поняла, что к чему, сказала:

— Я же говорила. Садись есть.

А я была на неё сердита — она разрушила мой идеальный мир вот этим вот «садись есть» и «я же говорила». Мне было почти семь, у меня тоже день рождения в ноябре.

Я больше никогда не ходила к Оле, она звала меня, я отказывалась.

Когда я ушла от Олежка, когда уже жила с мужем, у Олежка случился первый инсульт. Его новая жена Надя поила его плохой водкой, намеренно приносила её в дом, ставила в холодильник и уходила на работу. Надя упекла Олежка в «дурку», Надя требовала от него документы и генеральную доверенность на квартиру. Олежок позвонил мне, ему разрешили позвонить.

— Забери меня отсюда, — кричал Олежок.

Олежка мне не отдали, я позвонила его дочери в Ялту, сказала, что Олежок переписет квартиру на неё, сказала, что совсем плох, рассказала про Надю. Дочь намекала, что «денех» нет, я пропустила мимо ушей, сказала ещё раз про квартиру; дочь приехала, со своим мужем. Дочь забрала его из «дурки», привезла домой, он напился, к нотариусу не поехали. Олежок пил всю неделю, пока его дочь была у него. Дочь Олежка уехала. Олежок развёлся с Надей, но выпивать не прекратил; напиваясь, звонил мне, просил вернуться, говорил

о любви, о том говорил, как нам будет хорошо вместе после всего пережитого, говорил, что выжил исключительно ради того, чтобы быть со мной — с самым человечным человеком («человек» — выделено голосом).

Надя не звонила, она писала смс, Надя утверждала, что я разрушила её семью, называла хищницей. Я поставила её номера в игнор — надоело. И Олежка поставила в игнор — нет, не из-за того, что он говорил про любовь и счастье, мне не жалко, пусть. Я принесла ему кота, того, которого надо было посадить в коробку и отнести в школу, того кота, с дебильным именем Гуся, мои коты его били, а он должен был дожждаться свою новую хозяйку в тепле, она возвращалась с Гоа через неделю. Олешок согласился подержать кота неделю, но на следующий день стал дирижировать, привлекать к себе внимание посредством кота; я раз сказала, два сказала, на третий приехала, забрала кота, неделю купировала локальные котовьи конфликты, а Олежка поставила в игнор — самостоятельно, без игнора, мои зеркальные нейроны продолжили бы реагировать на приключения Олешка.

Эмпатия, возникающая в мозге человека из-за наличия там зеркальных нейронов, позволяющих мозгу ставить себя на место другого, несколько не отличает людей от, например, крыс, это доказали учёные, доказали посредством эксперимента. Одну белую крысу поместили в пластиковую прозрачную трубку, ограничили её свободу, трубку с крысой поставили в центре бокса, где проходил эксперимент. Второй дали гулять вольно. У крыс есть особенность — не выходить в центр помещения, крыса ходит по стеночке либо сидит в уголке, крыса осторожна, крыса не желает быть жертвой, поэтому предпочитает держаться в тени. Крысам свойственен тигмотаксис, обусловленный эволюцией вида, но свободная крыса, увидев подружку в неловком положении, вышла в центр бокса сразу. Крыса сначала тупила, просто сочувствовала, беспокоилась и тревожно попискивала, затем нашла как открыть дверцу на трубке. Сделала это она бескорыстно, поощрения не предполагалось. Более того, когда в трубку рядом поместили шоколад, а крысу-узницу вновь поместили в её узилище, вольная крыса сначала освободила подружку и только потом направилась к трубке с шоколадом, который унюхала сразу, это было видно по движению её усиков. Спасибо каналу «Наука» за осознание моего места в прекрасном мире.

Мне, как и крысам, некомфортно находиться в центре помещения, но иногда я выступаю перед людьми; предполагается, что люди не голодны, предполагается, что это безопасно, к тому же если уж ты писатель, поэт, если назвался таковым, надо время от времени это подтверждать. Для кого и зачем — вопрос десятый. Когда приглашают выступить — всегда иду и выступаю, хотя некомфортно. Но мне

важно, чтобы слушали, я редко выступаю. Мне нравится, когда в конце хлопают.

Чтобы хорошо хлопали, надо читать громко и не затягивать выступление. Я не стесняюсь, когда читаю стихи, я люблю читать их, я могу читать их одинаково хорошо и залу, и одному человеку, и вообще без присутствия людей, если у меня есть настроение. Если настроения нет, а стихи читать надо, я пью алкоголь — настроение появляется. Если алкоголя не хочется, а не хочется его всё чаще, приходится репетировать, чтобы прочесть хорошо. И всё равно, при любой интенсивности аплодисментов в конце выступления, мне некомфортно стоять посреди помещения. Ощущение такое, что, читая стишок, я защищаюсь от прямого контакта с людьми, которые не собирались нападать.

А тот мужик на дороге нападать собирался. Я шла к Славе ночью, мне надо было попасть к Славе ночью, шла по дороге, в районе, где жил тогда девятнадцатилетний Слава, тротуара не было, добраться можно было только по дороге. Я, прижавшись к бетонной плите, слилась с ней, я шла быстро и тихо, по стеночке, плита огораживала какую-то стройку, расположенную вплотную к дороге, я вжималась в неё, чтобы меня не было видно, машины проезжали редко, до Славиной общаги оставалось метров двадцать, когда мимо меня на огромной скорости промчался красный автомобиль. Я выдохнула, уже почти успокоилась, автомобиль начал удаляться, и вдруг резко развернулся, сделал круг, поравнялся со мной, стекло опустилось.

— Такая красивая девушка — и одна гуляет. Садись, поехали.

Я, вдавившись в бетонную стену, двигалась в сторону Славиной общаги. Я молчала, делала вид, что владелец красного автомобиля обращается к другой девушке, которая тоже идёт по дороге, не ко мне. Но нет, машина медленно ехала так, что я, а не другая девушка, оказалась между нею и бетонной стеной.

— Слышь, тебе говорю, садись, покатаемся, — продолжил мужик.

От него несло перегаром, настроен он был решительно.

Я молча шла вдоль стены, до общаги оставалось метров десять.

Мужик вышел из машины, подошёл ко мне.

— Ты же хочешь, поехали, — сказал мужик.

— Я спать хочу, в гости иду, — сказала я.

— Вот у меня в гостях и поспишь, — мужик, свято уверенный в своей привлекательности, схватил меня за рукав куртки и потащил в машину.

Я на секунду оцепенела, силы были очевидно неравные, орать смысла нет — ночь, четыре часа, да если бы и день — ага, все кинутся на спасение меня.

Днём никого не хватают на улице не потому, что боятся, что кто-то придёт на помощь жертве, нет. Днём не хватают потому, что это не принято, инстинктивно не хватают, или ошибиться боятся — днём

сложнее отличить приличную девушку от неприличной; ночь же всё расставляет по местам: если девушка идёт ночью одна, её явно можно — она никому не нужна, и тот, кто тащит девушку ночью в машину, делает для неё благо — была не нужна, стала нужна, всякой девушке необходимо быть нужной. Примерно это говорил мужик, когда тащил меня в машину. Соппротивление бесполезно, только себе вредить, после каждого моего движения мужик только сильнее сжимал руку. Я расслабила руку. Мне стало нестрашно, будь что будет, подумала я. И стала декламировать:

Друг мой, друг мой, я очень и очень болен,
Сам не знаю, откуда взялась эта боль,
То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь, засыпает мозги алкоголь...

Мужик ослабил хватку.

Голова моя машет ушами, как крыльями птица...

— Ты чего — больная? — спросил мужик.

Ей на шее ноги маячить больше невмочь...

Мой голос набрал силу, я слышала его, мне нравилось.

— Заткнись, поехали, — зашипел мужик.

— Чёрный человек, чёрный, чёрный, — хохотала я ему в лицо, — чёрный человек на кровать ко мне садится, — я вцепилась в рукав мужика, приблизила своё лицо к его лицу, — чёрный человек спать не даёт мне всю ночь.

— Отстань от меня, больная, — шипел мужик и пытался от меня освободиться, я по инерции сжимала ткань его куртки, рука не разжималась, мужик оторвал по одному мои пальцы от своего рукава, запрыгнул в машину, проорал мне: — Больная, иди лечись!

Дал по газам и уехал.

Когда я дочитала «Чёрного человека», передо мной возникла дверь Славиной комнаты.

Сейчас, когда у меня нет настроения читать, когда нет желания пить алкоголь для того, чтобы хорошо читать стихи, я читаю их тому мужику.

ГЛАВА 14

У Славы я всегда чувствовала себя в безопасности, как моя собака Хвостонаил в моём присутствии. Хвостонаил был сукой, щенком я отбила его у подростков, сначала Хвостонаил жил в подъезде, я не решалась его взять неделю, он был маленький, страшно хорошенький, но я не планировала брать собаку. Но, единожды покормив животное, я беру его домой, это проверено, мотивацию смотри выше — нет никакой мотивации, есть мозг, а в нём — загадочные зеркальные

нейроны. Поэтому я не кормлю бездомных животных, если точно не уверена, что можно будет определить в тепло. А Хвостонаила покормила, мне самой было негде жить, и Хвостонаилу было негде жить, но я его взяла, с ним и попала к художнику, Хвостонаил оказался самкой. Приятельницы художника выпустили его погулять из озорства, смотрели, как он сцепился с кобелём, и ржали, а поймать не смогли; меня не было дома часа два, за это время Хвостонаил успел забеременеть, и к Олежку я пришла с собакой и тремя щенками, их звали Вицин, Никулин и Моргунов, художник их так назвал. Щенки сосали Хвостонаила, щенки топали ногами, Олежок нервничал, сказал, что собаку надо отдать в добрые руки, я сказала, что лучше его, Олежка, я отдам в добрые руки, он сказал, что просто спросил, что это была проверка. И смирился с присутствием Хвостонаила, хотя опасался этого присутствия. Щенков раздали, Хвостонаил растолстел, всем был хорош пёс, но очень уж сторожевой: Хвостонаил считал, что лаять надо при любом шорохе за дверью, он был убеждён, что на моих клиентов лаять жизненно необходимо, и лалял.

Миха пришёл ко мне по объявлению, Михе надо было вернуть жену. Миха увидел Хвостонаила, бочком миновал его объятия, присел на стул и сказал:

— Я таких тварей машиной давил, пачками. Ненавижу этих тварей,— сказал Миха.

Я опешила. Я сказала:

— Поэтому у тебя проблемы с женой, это же очевидно.

Миха с недоверием посмотрел на меня.

— Волк,— сказала я,— это воплощение семьи. Ты давил воплощение семьи — как у тебя может быть хорошая семья?— сказала я и сочувственно на него посмотрела.

— Да не давил я, я пошутил,— сказал Миха неуверенно,— просто не люблю этих шавок.

— Слова имеют силу,— сказала я Михе,— слова — страшная сила. Надо отвечать за свои слова,— сказала я Михе.

— Да это же шавка, не волк,— слабо возразил Миха.

— Не всё так просто,— сказала я.— Эта шавка — воплощение волка в городской среде; оскорбив собаку, ты оскорбил праматерь волков, ты должен испросить прощения у праматери волков.

— Как?— спросил озадаченный Миха.

— Ну...— я подумала немного.— Ты должен принести ей жертву и молить о прощении.

Сошлись на десяти килограммах куриных шей.

— Слова молитвы о прощении ты будешь повторять за мной,— сказала я Михе.

Миха ушёл, вернулся через пятнадцать минут, с шеями. Хвостонаил радостно лалял.

— Вставай на колени,— сказала я Михе.

— Ты охренела? Перед шавкой — на колени? — Миха покраснел.
— Праматерь волков, — сказала я. — Нет здесь шавок. Не испросишь прощения — жена не вернётся.

Миха встал на колени.

— О великая праматерь волков Хвостонаил, — начала я молитву о прощении.

— О великая праматерь волков Хвостонаил, — обречённо повторил Миха за мной.

— Прости меня, дурака и дебила, за непочтительные слова...

— Прости меня, дурака и дебила, за непочтительные слова, — повторил Миха уже с выражением.

— По отношению к тебе, к братьям твоим и сёстрам, по отношению к высокому роду твоему, по отношению ко всем великим волкам истории мира, во имя Ромула и Рема, во имя великого города Рима, во имя Лесси, во имя белого Бима, во имя волков белых, волков серых, волков чёрных, во имя сенбернаров и пекинесов, во имя главы волков — великого колдовского волка Акелы, прости меня, о великая праматерь Хвостонаил, прими мою молитву и прости меня, идиота недоразвитого, не со зла я говорил слова поганые в твой адрес, но по слабоумию по своему врождённому, прости меня, праматерь волков, и помоги вернуть жену. Аминь, аминь, аминь.

Миха произносил за мной мольбу о прощении, Хвостонаил радостно скакал, лаял и облизывал его лицо.

Я разрешила Михе подняться с колен, Миха поднялся. Поднявшись, спросил:

— И что, теперь жена вернётся?

— Да, — сказала я, — если оплатишь мне обряд на её возврат.

— Ну ты наглая, — констатировал Миха, доставая деньги.

Жена к Михе не возвращалась долго, Миха пытался предъявлять мне невозвращение жены, потом в шутку сказал, что я должна стать его женой, ему нужна жена.

Я сказала: ухаживай, там видно будет. Миха пригласил меня покататься. Олешок ушёл на сутки, он работал охранником, я поехала кататься с Михай. Миха всерьёз решил ухаживать. Он привёз меня в грузинский кабачок, его там все знали, ему были рады, мы пили вино, потом Миха сказал:

— Пойдём потанцуем.

Я была ошарашена — этот ушастый гопник сказал: «Пойдём потанцуем». Я встала, и мы с Михай танцевали, долго. Он был идеально сложен, я это заметила через полгода знакомства. У него были манеры если не лорда, то лорда-разбойника; да, Миха умел ухаживать, но когда он спросил, какой подарок я хочу, я растерялась, сказала, что не надо никакого, что этот вечер — сам по себе подарок. Так и было, но мне надо было возвращаться обратно к Олешку.

Через несколько месяцев я в очередной раз сбежала от Олежка. Позвонила Михе, к нему уже вернулась жена, сказала:

— Михе, приезжай срочно, мне очень плохо.

Миха спросил, где я, я сказала: возле Дома офицеров. Михе приехал через двадцать минут, у него в бардачке был литр водки. Мы поехали на набережную, сидели в машине, выпили литр, съездили за вторым, я говорила, меня прорвало, я рассказала Михе про Олежка, всё, в подробностях, сказала, что мне невероятно хреново от этого всего, сказала, что не знаю, как жить дальше.

— Весело дальше жить, — сказал Михе и дал по газам.

Было уже темно, Михе собрал все красные светофоры, он ехал на красный, ехал с огромной скоростью, периодически выезжал на встречку.

— Знаешь, как дальше жить? — возмущённо спрашивал Михе после каждого страшного поворота.

— Знаю, — верещала я, — знаю.

— Как? — спрашивал Михе.

— Весело! — кричала я.

За нами уже гнались менты; когда включилась сирена, Михе остановился, вышел из машины, он говорил с ментами минут пять, вернулся, я спросила:

— Теперь тебя лишат прав?

— С чего ты взяла? — сказал Михе.

И мы поехали к Людке, у которой я жила, сбежав от Олежка.

Михе остановился возле круглосуточного магазина, вышел и вернулся с пакетом.

— Это праматери Хвостонаилу, — сказал Михе, — шеи. Всё, что там было, забрал.

Куриные шеи стали для Михе символом благополучия, как иконы для Олежка, как свинина для одноклассницы, как дешёвые духи для женщин в автобусах. Он желал благополучия мне, желал благополучия Хвостонаилу, он выразил своё желание посредством принесения дара.

ГЛАВА 15

Однажды я пришла к Вадик в театр, уже будучи мужней женой. Мне хотелось что-нибудь съесть, Вадик достал контейнер с едой и дал мне. В контейнере была курица с вермишелью. Я не стала есть, на вид еда была не хуже, чем дорогая, запах был интересным, но я не стала экспериментировать. Тогда Вадик дал мне печенье, и я ела, с чаем. Потом он подарил мне пазлы, бесплатные, с детского спектакля, в честь моего прошедшего дня рождения. Это был единственный подарок Вадика. Я его передарила; возможно, Вадик хотел мне что-то этим сказать, не знаю, пазлы я так и не собрала. Но сказала ему спасибо.

Может быть, это социокультурный код его среды обитания — дарить бесплатные пазлы. Вадик неоднократно менял меня на тридцать сребреников своей социализации, Вадик трижды по трижды отрекался от меня (скромное сравнение, да?), когда отрёкся в последний раз, мы со Славой веселились дня два. Вадик дал мне соционический тест, мне предлагалось его пройти, чтобы определить психотип, психотип оказался Штирлиц, согласно этой прекрасной системе типизации — экстраверт, к тому же дуал Вадика, Достоевского. Вадик пыхтел, лоб чесал, перепрошёл свой тест, и оказалось, что никакой он не Достоевский, а совершенно другой психотип. Вадик год вполне комфортно был Достоевским, но когда речь зашла о дуальности в моём контексте, Вадик сменил себе психотип.

Да, я задала ему вопрос: любил ли он меня хоть минуту за всё время? Вадик, привыкший уходить от вопросов, которые в его понимании влекут за собой ответственность, сначала привычно уходил, сказал, что ему спокойно в моём присутствии, что я уютная и что он чувствует себя в безопасности рядом со мной. Сказал, что я много для него значу. Не знаю, где он вычитал эту формулировку, но произнёс с выражением, будто бы репетировал.

Мы знакомы более двадцати лет в общей сложности. Спокойствие и комфорт Вадика длились тринадцать лет, с перерывами.

Если вы со мной знакомы, но не увидели себя в романе, это не значит, что я вас не помню или не люблю. Я помню всех, с кем знакома, с кем когда-то была знакома. Вы значимы, значительны и важны для меня, даже если с вами не было комфортно и спокойно. Я помню борщ, который вы разогрели, когда я заявила к вам в два часа ночи, помню ваш чёрный пистолет, оставленный у меня на холодильнике. Много чего помню. Историй хватит на десять романов; возможно, именно за историю о вас мне дадут большую, серьёзную премию. Мы этого достойны.

Мы этого достойны — так думал Греков, так думала я, когда мы стали торговать помидорами в центре, на автобусной остановке. Мы достойны всего самого лучшего, только надо немного поработать. — Помидоры берёзовские, помидоры минусинские! — зазывала я покупателей.

Греков ходил рядом, охранял. Сам он стеснялся выкрикивать лозунги про самые лучшие помидоры, он смотрел, чтобы никто не спёр помидор с прилавка, он ездил в отдел платить штрафы за торговлю в неподобающем месте.

В тот день его, как обычно, вместе со всеми торговцами посадили в ментовскую машину и увезли.

Пока он отсутствовал, я увидела писателя Бушкова, подошла к нему, попросила автограф. Он подписал мне десятирублёвую бумажку.

Вернулся Греков позже, чем обычно. Он шёл медленно, вид у него был виноватый, будто бы он изменил мне, или ел без меня, или я прошу звезду с неба, а он не может её достать.

Вид у него был такой, будто бы он сотворил что-то необратимое, за что прощения ему никогда не будет. Я почувствовала, что произошло что-то, но спрашивать не стала: если не знаешь о плохом — оно как бы и не случилось. Я не задавала вопросов, хотя люблю задавать их. — Твои звонили, — сказал Греков. — Бабушка умерла.

Если бы в тот день мне понадобилась звезда с неба — он бы достал.

Заморочься я тогда романом или просто премией — он украл бы, но выдал.

Я еду в автобусе. Женщины брызжут ароматизаторами зимой и летом. Сегодня курьер принёс пиццу. Курьер — мужчина, запах его одеколона ощущается и сейчас. В следующий раз я зарублю его топором, расфасую по пакетам и заморожу. Завтра я пойду на творческий вечер, который устраивает знакомая женщина-писатель. Если кто-то попробует заключить меня в объятия, я возьму камень и стану бить по голове, пока голова не превратится в месиво.

Но будет иначе: я улыбнусь курьеру, скажу спасибо, а обнимающему дам конфету взамен объятий.

Я живу в идеальном мире, клиентам гадаю большей частью по телефону и по скайпу. Я редко выхожу из дома.

Моему идеальному миру не хватает только премии за роман.

Позавчера клиентка подарила сертификат в «Л'Этуаль».

Я этого достойна.

КРАСИВАЯ ПТИЦА

Клубника манила. Клубника просвечивала через марлю, которой было накрыто ведро, и аромат просвечивал через марлю воистину невероятно. Я тихонько подняла марлю, взяла одну ягоду. Ягода была размером с ладонь, я протянула её Вове, он младше — в жизни бы не догадался поднять марлю. Потом взяла вторую ягоду, тоже большущую, и стала есть. Ведро, огромное тёмно-зелёное эмалированное волшебное ведро, никак не опустошалось — видимо, потому, что мы ели очень медленно, стараясь делать это так, чтобы бабушка не заметила пропажи ягод из ведра.

Бабушка тем временем готовила кондюры на костре. Приготовив, позвала нас, выдала по деревянной ложке и сказала есть прямо из котелка, чтобы тарелки потом не мыть. Мы ели, но как-то не особенно охотно, а бабушка удивлялась: весь день вроде на свежем воздухе, а аппетит не нагуляли. И тут Вова признался:

— А мы ягоды наелись! Из ведра!

— Ну как вам не стыдно, помощнички! — улыбнулась бабушка.

— Мне не стыдно, — громко призналась я, — мне вкусно было.

— А тебе? — бабушка с надеждой посмотрела на Вову.

Вова, улыбаясь во весь рот, замотал головой.

— Ну ладно, — вздохнула бабушка, — давайте-ка мамам букеты соберите, да по домам вас отведу.

Мы собрали цветы и пошли по домам. Бабушка, загорелая, в белом платочке, шла посередине и несла гигантское зелёное эмалированное ведро, накрытое марлей, местами пропитанной клубничным соком. Вова держал бабушку за руку, чтобы, не дай бог, не споткнулась. Я шла со стороны ведра. На всякий случай. Мы прошли дачи и оказались рядом с забором лесохозяйства. На заборе сидела удивительная громадная птица. На солнце её оперение в тех местах, где не было белым, переливалось розовым и зелёным. Птица пела, трясла хвостом, но нас не боялась, поэтому не улетала.

— Какая красивая птица! — воскликнула я.

— Сорока называется, — сказала бабушка и рассмеялась.

Антон Андреев

Аффект наблюдателя, или Квантовая запутанность сержанта Прокопчика

Победитель краевого литературного конкурса
имени Игнатия Рождественского в номинации «Проза»

*...Реальность различается в зависимости
от того, наблюдаем мы её или нет...*

В. Гейзенберг. Физика и философия

Сержант ГИБДД Олег Прокопчик был сравнительно честным полицейским. Ему капитан Колосов из районного ОВД всегда так и говорил: «Дурак ты, Прокопчик. И не лечишься. Хотя медицина для нас бесплатная». Нет, деньги Прокопчик, конечно, брал. Но только иногда. Когда совсем уж никак не откажешься — иначе, например, придётся нарушителя прав лишать. А нарушитель — он тоже человек, и ему без прав как ездить-то?

Так что если и брал, то не ради корысти, а вот именно из человеческого этого принципа. А деньги что? В деревне Ширий, где служил (а до этого двадцать семь лет назад родился и постепенно вырос) сержант Прокопчик, больше пятисот рублей в день и потратить-то было сложно. Разве что в отпуск с женой Маринкой два раза в год съездить. И то — дорога туда-сюда за казённый счёт. Ну и на выходных «в область» на денёк смотаться за покупками. Ну, там — да, денег, конечно, надо.

Вот так и жил-был сержант, контролируя дорожную обстановку на вверенной ему территории Ширияевского района, пока не подкинули ему на участок вот эту самую штуковину. То ли регистратор скрытый, то ли датчик какой-то. Не разберёшь, твою налево... Да и кто подкинул? Кому это в деревне сдалось? Но факт есть факт. А дело было так. В прошлом июле дело было.

Дежурил Прокопчик, как обычно, на свороте с железнодорожного переезда. Место было самое хлебное. В смысле отчётности. Месячный план тут можно было выполнить... нет, ну не за неделю и не за две. Недели за три можно было. На верочку — за месяц. Да, вот за месяц можно. А без этого переезда — прощай, план и квартальные премии. Потому как нарушать ПДД во всём районе было больше и негде — лес, поля, бездорожье. А тут хотя бы дорожные знаки стояли.

Воткнули их как попало, так что не нарушить хотя бы один было просто невозможно.

К тому же в этом месте через Ширий, с заездом в оба его продуктовых ларька, летом вечно тянулась вереница автотуристов. Ехали сплаваться по таёжной реке Мане, лазить по местным пещерам или просто по памятным местам — годах в шестидесятых тут на месте лесосек снимали кино с участием Высоцкого. Теперь вот даже фестиваль в честь него придумали проводить: турьё, сувениры, песни под гитару, вот это всё. Самогон местный, рыбалка.

Вот и в тот день — пятница как раз была — поставил сержант свою патрульную колымагу ВАЗ-2115 за переездом, так, чтобы с дороги со стороны города не видно было. А сам прохаживался тут же, рядом, в тенёке разросшейся ивы.

Нарушителя он услышал ещё издали, как только городские заехали на бывшее совхозное поле, где теперь рос высоченный, в два метра ростом, иван-чай. Играла в салоне какая-то навязшая ещё с позапрошлого года песня про баклажан, слышались развесёлые крики.

Тормознул туристов Прокопчик по-ковбойски лихо, чуть приподняв жезл от бедра. Пока брусничного цвета «Санта Фе» тормозила, на лице водителя — парня лет двадцати восьми, трезвого — можно было прочитать всю палитру быстро сменяющихся мыслей. Первую долю секунды он удивился, явно не ожидая увидеть инспектора за двести километров от города, потом на лице мелькнуло осознание того, что да, вот точно, стояли же в иван-чае какие-то дорожные знаки. Последней читалась мысль: «Встрял на пятёрку, не меньше». Автомагнитою с «баклажаном» тут же выключили.

Разговор, хоть и начался с формальностей, закончился уже через полминуты: водитель ничего не отрицал, кающейся интонацией начал тянуть что-то типа: «Командир, ну на отдых едем». Полез сначала в карман, потом в бардачок за документами. Пару хрустящих новеньких купюр ему передали с задних сидений.

Прокопчик потянулся уже было за свёрнутыми бумажками, внутри которых еле заметно рыжели торцы денежных знаков. Успел даже подумать, что было бы забавно дать городским ещё и сдачи. Потому как по-хорошему пятёрки было за глаза. И тут где-то со стороны переезда что-то защёлкало. Негромко так, но слышно. Как будто включилось, навелось, зашуршало, отстраиваясь. Потом начало тикать, что ли. Прокопчик сообразил сразу: регистратор с оптикой, как у фотоаппарата. Или просто камера скрытая. А может...

Рука сама ушла в сторону от протянутых документов. Сержант шагнул вокруг машины так, чтобы отвернуться от переезда. Заглянул зачем-то под переднее колесо, выпрямился и принял решение. — На отдых говорите? На речку нашу? Ну ладно, чего уж там, проезжайте. Счастливого пути! Спиртным не злоупотребляйте, особенно

местным самогоном — садит так, что с непривычки можно и тятю, и маму забыть. Не нарушайте больше.

А у самого на спине промок, кажется, даже китель. Твою-то за ногу. Поставили. Кто? Когда? Кирпичная железнодорожная будка на переезде с девяностых годов была необитаема. Путейцы присматривали за ней, окошки были целые. Но никакого сторожа или смотрителя в ней не было. Да и оборудования тоже — переезд никак не регулировался. Прокопчик незаметно покосился на железнодорожную насыпь. Ну да, а больше-то негде. Тут же сообразил, что щёлканье и тихий скрежет уже прекратились. Ага, засняли, стало быть, и дистанционно отключили, чтобы зря не снимать пустую дорогу. Ну и дела. А камеру-то могли бы и бесшумную поставить. Работнички, мать их, всё-то у нас в России через... Хотя и слава Богу, что такая попалась. Списанная, наверное. Кто ж новую камеру в деревню повезёт? Украдут же.

Сержант выпрямился, выгнул спину так, чтобы китель хоть немного отлип, и, помахивая как ни в чём не бывало жезлом, прошествовал к патрульной машине. Сел, для виду повозился в салоне, посидел, посмотрел на часы и не спеша тронулся к центру села, проехав и мимо ларьков, где тарились пивком давешние туристы. Строго посмотрел на них через правое боковое стекло, те потупили взоры и, побросав окурки в пыль поселковой дороги, стали понуро грузиться в свою «Санта Фе».

Весь день мыкался Прокопчик то по селу, то по дороге, мотаясь из края в край. Даже пообедал два раза. И всё это время размышлял.

Раз они эту штуку поставили, значит, всё равно сколько-то будет она там стоять. Раз она будет стоять, а его на переезде не будет, то начальство увидит как раз, что нарушения-то в районе есть, но никто их не пресекает. С другой стороны, как их будешь пресекать, если камера всё видит? Деньги уже не возмёшь. А каждого проезжающего лишать прав — так и отчётность всю собьёшь. Да и вообще вопросы возникнут: почему у вас одни лишения, мать вашу так растак? А хуже того — вспомнят, что знаки-то на переезде никто и не ставил. Официально. А вкопал их предшественник Прокопчика старший лейтенант дядя Коля Панаенков. И спецом так, чтобы не нарушить было нельзя. Большого ума был человек, всю жизнь ментом проработал в одном селе. Утонул потом, когда пьяный на лодке врезался в баржу на Енисее.

Ночью не спалось. Снился капитан Колосов. Суровый и молчаливый. Он ходил по огороду сержанта прямо в сапогах по грядкам, мял ногами перья лука и заглядывал в щели и замочные скважины сараев и всяких там пристроек. Даже в сортир заглянул через пропиленное в двери сердечко...

Проснулся сержант Прокопчик посреди ночи, как будто задыхаясь. Жена спала рядом. Выглянул в окно — на огороде никого не было, но лук, кажется, и впрямь был помят. Захотелось курить и выпить. Хотя сержант и не курил, и пил только по праздникам.

Последующие дни прошли словно в бреду. Как только сержант приезжал на переезд и останавливал там нарушителя, в железнодорожной будке что-то щёлкало, и слышно было, что идёт запись, — то ли кассета какая шуршит, то ли переключатели какие переключаются. Одним словом, работает техника. И вроде бы тихо так. Но слышно.

Уже и нарушители сами стали обращать внимание на странного сержанта. Денег не берёт, настороженно стрижёт ушами по сторонам, оглядывается. Да и по селу слухи пошли. Даже жена Маринка стала допытываться.

— Ты чего? — говорит.

— Да так, по службе там, — отвечает Прокопчик.

— Ну смотри, а то к врачу бы ходил. Для вас всё равно бесплатно, — советовала жена.

С деньгами тоже началось. В один из дней Прокопчик поймал себя на том, что стоит в ларьке у тёти Клавды и пересчитывает мелочь, чтобы купить хлеба и пачку чая. Раньше, не глядя, кинул бы сотку да попросил бы рассыпных семечек на сдачу.

А ещё в августе в отпуск собирались в Крым, а с зарплаты и отложить даже ничего не получилось. Да и забор поправить хотел на неделе, а это сетку-рабицу надо, столбы покупать, краску. «Рублей» двадцать уйдёт. А где их брать?

В следующую пятницу приехал Колосов. Застал Прокопчика как раз у сельского озерца. Сержант сидел на чурочке возле капота патрульной машины и пил разливное пиво из трёхлитровки. Обдумывал, как бы зловредный щёлкающий регистратор обмануть, чтобы начальство не заметило. А начальство уже и само в гости пожаловало.

— Совсем уже ты, Прокопчик. Охренел, что ли? Ты ещё водку посреди села начни пить в служебное-то время и в форме. Не зря передавали мне, что ты в своём Широком тут распустился: нарушителям потворствуешь, отчётность нулевая пошла...

— Вы, Игорь Прокофьевич, сами того... виноваты. Поставили мне эту штуку, ничего не сказали. А она щёлкает теперь.

Капитан, как оказалось, ничего про скрытую камеру не знал. Пиво допивать не стали, сразу поехали на переезд. Остановились подальше, потихоньку между кустами прокрались к железной дороге. Штуковина молчала, и капитан уже начал намекать Прокопчику на «белочку» и на димедрол в пиве. Но как только тот для чистоты эксперимента тормознул «уазик» с пьяными лесниками из соседнего района, штуковина снова тихонечко защёлкала, захрустела микроплёнкой или дискетами, шурша, наводила объективы, но сама не показывалась.

Лесников штрафовать не стали: как говорят в народе, нечего плевать в колодезь, если пригодится ещё лес на строительство или на дрова там рубить.

Постояли в кустах. Допили пиво.

— Да, мать иху так... Кто ж их надоумил сюда эту камеру тебе впендюрить? — гадал капитан. — Может, клязу кто на тебя настрочил, а теперь проверяют? Хотя нет, клязу всё равно на меня же и спустили бы, а я бы тебе передал. Ох, нечисто тут. Поеду выяснять.

И уехал. А Прокопчик остался один на один с этой штуковиной.

Дни тянулись своим чередом, и служба летела под откос. В самый рыбный сезон остался Прокопчик без нарушителей, по линии дисциплины начались взыскания: почему, мол, «палок» в журнале раскрываемости нет уж полмесяца? Жена, заглянув в комод, где хранили записку на августовский отпуск, и пересчитав деньги, закатила скандал и уехала в Абазу к матери. Соседи уже не просто шептались за спиной, а откровенно крутили пальцами у виска: «Такой молодой, видать, спайсы эти городские нюхает».

Спать по ночам не получалось, днями прятался от жары по кустам и пил — до обеда пиво, потом переходил на самогон, чтобы уснуть к вечеру. Но на таком нервяке не помогало. Колосов потерялся, сначала на звонки отвечал односложно или двусложно максимум. Мол, нет никакой от начальства информации, кто камеру ставил и для чего. А потом и вовсе перестал отвечать.

Прокопчик отчаялся, но никаких действий не принимал. Да и какие тут действия? Переехать в соседний район? А что толку? Сломать эту хреновину ко всем богам? А что это изменит? Хотя-а-а...

Подобрав ночь побезлуннее, сержант одним залпом махнул из кружки граммов триста для храбрости, оделся, как в кино, в чёрное трико, чёрные носки, чёрные кроссовки и водолазку и огородами пробрался к переезду. Ни одна собака не залаяла, никто не попался на пути.

Переезд встретил мертвецкой тишиной. Стоял он всеми покинутый, наглухо затворённый железной дверью, с пыльными окнами и ржавой крышей. Прокопчик дважды обошёл здание кругом, осторожно посвечивая маленьким фонариком. Никаких отверстий или прозрачных поверхностей, за которыми могла бы стоять камера. Только на чердаке виднелось незаколоченное досмотровое окошечко — размером как раз, чтобы пролезть бочком и полулёжа. Выходило оно строго на дорогу за переездом. Туда, где стояли знаки-ловушки.

Сержант, как заправский японский ниндзя, засунул за спину прихваченную из дома монтировку, закрепив нижний её конец под резинку трико, и, цепляясь за откосы, выступы и выщербленный кирпич, вскарабкался к чердачному окошку. Заглянул внутрь — никого, камер не видно. Минут пять ушло на то, чтобы втиснуться плечами вперёд в узкий проём и протащить туда всё остальное тело. Вдруг что-то знакомо щёлкнуло под крышей. Ага!

Прокопчик с полминуты лежал, почти не дыша, и прислушивался. Кажется, камера не засекла его. Он медленно приподнялся

и огляделся, включил фонарик, вытряхнув его, привязанный на верёвочке, из рукава водолазки. В другую руку сержант покрепче ухватил монтировку. Ничего примечательного на чердаке не было, кроме ржавого электроящика на деревянной стойке, подпирающей стропильную систему посередине. Сверху к ящику шёл толстенный шланг электропитания. «Ага!» — снова подумал Прокопчик.

На цыпочках и чуть сбоку (чтобы не попасть в объектив сразу) сержант приблизился к ящику, осторожно приоткрыл его и заглянул внутрь. И вот тут началось что-то малопонятное. Ящик защёлкал и заскрежетал на все голоса, изнутри в лицо инспектору выпорхнуло что-то чёрное, кричащее, клюющее, царапающее. Инстинктивно Прокопчик наобум хватил монтировкой по ящику, посыпались искры, рука на одну миллионную долю секунды стала прозрачной и словно бы примагнитилась и к монтировке, и к ящику. В это же время, а может, и раньше, что-то хлопнуло — и ничего не стало.

Эту историю, в разной степени детализации, до сих пор можно услышать в том районе и конкретно в селе Ширяй. Стоит только заговорить с местными жителями и спросить их о каких-либо достопримечательностях, каждый сразу вспомнит про Олега-мента, который «кукушкой поехал».

Сержанта Прокопчика нашли на следующее утро. Он сидел на рельсах с обугленной монтировкой в руке и повторял как заведённый: — Сержант Прокопчик, Ширяевское РОВД. Почему нарушаем?

Его потом долго в городе лечили. Говорят, вылечили. На службу он не вернулся, занялся общественной активностью — теперь защищает права водителей, даже возглавил областное отделение Федерации автолюбителей России. Хвалят его как очень вёдливую сутяжника по разным ДТП или по нарушениям дорожных служб, когда знаки неправильно ставят или ещё что.

А в сторожке той, на перегезде, этим летом ремонт делали, и рабочие нашли на чердаке кладку яиц какой-то необычной птицы. Очень редкой — то ли чечевицы какой-то, то ли алтайского какого-то снегиря. Не просто редкая, а даже и малоизученная. Сама птичка маленькая, неприметная, а может подражать самым разным звукам и особенно хорошо почему-то техническим. Про это даже и в газетах писали. А яйца в краеведческий музей сдали — для коллекции.

Виктор Теплицкий

Снегопад

Второе место в конкурсе имени Игнатия
Рождественского в номинации «Проза»

...Сначала был ветер. Он терзал деревца, наметал сугробы, неистово раскачивал гирлянды. Когда ветер уgomонился, пошёл снег. Крупные хлопья сыпались, будто пух из подушки, укрывая всё то, что разметала позёмка.

Степан Грудов не замечал этих волшебных изменений. Он завершал очередной круг возле своего дома. Дом был длинный, в народе его называли «китайской стеной», и потому Грудов уже замёрз. Он тёр уши и щёки, шевелил пальцами в ботинках. Но это не помогало; с каждым новым кругом становилось холоднее. Степан решал непростую задачу: возвращаться домой или...

А куда «или»? Восьмой день новогодних праздников. Приходить к кому-то с бутылкой поздновато. Домой?

Он остановился. Напротив — подъезд, седьмой этаж, из лифта налево...

Грудов нашёл свои окна. Сквозь хлопья они виделись какими-то особенными, уютными. Кухня с тюлевыми занавесками, за шторами зал...

В зале всё и произошло. Случайно? Вряд ли. Дни вынужденного безделья только ускорили дело. Хорошо, что завтра на работу!

...Отношения с сыном разладились давно. Лоботряс, бездарь, трепло... «Двадцать лет парню, — заводил Грудов шарманку, — не учится, не работает, шатается невесть где. Балбес!» Как можно было на третьем курсе бросить университет, Степан не понимал. «Дай, дай, дай. Ничего другого не знает. И жена туда же. Жалко, мол. Пропадёт. Да хрен с ним что случится!» — ворочался по ночам Грудов. Его раздражало в сыне всё: начиная от нескладной фигуры, прыщей и длинных волос — до голоса, вечно недовольного, скрипучего, как у замученного жизнью старика. Хотя отпрыск редко когда огрызался, нахальный взгляд и ехидная улыбочка приводили в бешенство. «Эх, кабы не „белый билет“! — сокрушался Степан. — Армия пошла бы ему на пользу. Там быстро мозги вправляют». Он любил повторять, что когда дембельнулся, ещё с полгода ставил аккуратно тапочки возле кровати. У сына в комнате можно ногу сломать.

Вчера Артём появился под утро. Это и стало последней каплей.

Степан предупреждал: «Придѣшь позже одиннадцати — ночевать будешь в подъезде. Мы спать рано ложимся, а ты тарелками громы-хаешь». Разумеется, Артѣм опаздывал. Екатерина сдерживала мужа: «он уже подходит», «всего полчаса», «он девушку провожает». Степан скрипел зубами и нервно переключал каналы телевизора. Но в этот раз, когда перевалило за час, Грудов щёлкнул задвижкой. Жена пыталась убедить, что на улице минус двадцать пять, что сын легко одет, что... — Не маленький. Думать надо, — буркнул Степан и выключил свет.

Он не думал, что супруга решится открыть задвижку. Но она, видно, открыла. На бессонницу Степан не жаловался, но раза два за ночь поднимался по нужде. В пять утра он обнаружил, что его чадо преспокойно дрыхнет в кровати, источая перегар. Спать Грудов больше не мог.

Когда Екатерина вышла из спальни, Степан пил чай. Она тихонько села рядом. Но Грудов молчал, нарочито медленно отвернулся к окну, не удостоив жену взглядом. Издѣвки припас на потом.

До обеда супруги не сказали друг другу ни слова. Тяжёлые грозовые тучи стягивались в жуткое месиво под кухонным потолком. Екатерина ходила по дому крадучись, боязливо посматривала на часы. Но вот скрипнул пол — Грудов-младший выплыл из коридора. Взлохмаченный, в трусах и майке, он шурился спросонья в дверном проѣме. — Ма, чѣ есть? — окликнул сын, открывая холодильник.

— Руки убрал! — Степан отшвырнул газету.

Он увидел, как нервно дѣрнулся кадык. Уголки губ презрительно опустились.

— Чѣ за кипиш?

— Повторяю для дебилов, — чеканил, поднимаясь со стула, Грудов-старший. — Руки убрал и отошёл от холодильника.

— С какого перепугу? Я не могу дома похавать?

— Хавать будешь на зоне. А дома будешь есть, когда тебе разрешат. Тунеядец!

— Началось! — Артѣм закатил глаза.

— Да, началось! Достал уже. Сидит на отцовской шее, ножки свесил. Домой не может вовремя прийти.

— Можно не орать. У меня со слухом всё нормально.

— Зато с совестью у тебя всё даже очень не нормально. Короче. К холодильнику не подходишь, пока на работу не устроишься. Что ты будешь есть, где ты будешь питаться, меня не интересует.

— Какая, на хрен, работа? Сейчас праздник. Кончится — пойду искать, — Артѣм скрестил руки на груди.

— Ты уже полгода ищешь. И ещё. В этот раз тебе прокатило. Больше номер не пройдёт. Ночь спать не буду, но домой не пушу.

— Дурдом! — сын покрутил головой. — Мама, скажи этому...

Муж оборвал порыв жены резким жестом. Тело его натянулось как струна, в сердце ударила волна гнева, откатилась назад. Он подошёл вплотную к сыну.

— В глаза смотри, — процедил Грудов-старший. — Запомни. Я лодырей и неучей кормить не намерен. Всё. Свободен. Вали с кухни... щенок.
— Да пожалуйста, — улыбка криво ползла по лицу.

Не опуская рук, Артём медленно повернулся и вразвалку пошёл в зал. У двери он как бы невзначай бросил:

— Идиот.

Вот тут Грудова и накрыло. В два шага настиг сына, толкнул в спину. Тот влетел в комнату, упал на диван.

— Что ты там вякнул?

Артём вскочил. В глазах мелькнул страх, но их тут же заволокла холодная пелена:

— Чё слышал.

Где-то причитала жена, возились соседи, но Степан уже плохо что понимал. Воли не было. Только — ярость. Рука сама отделилась от тела и со всего маху залепила сыну пощёчину.

Время застыло, как при фотовспышке. Звон. Тишина. А потом — громыкнуло: сын бросился на отца. Степан видел искажённое злобой лицо, побледневшие губы, чёрные пятна зрачков; чувствовал пальцы на своём горле. Он опрокинул Артёма, навалился всей тяжестью на извивающееся тело и два раза ударил — кулаком. Раненой птицей метался крик жены:

— Прекратите! Хватит! Хватит!

Грудов-старший поднялся. Дышал тяжело, руки дрожали. Сын лежал, скрючившись на полу. По щекам Екатерины катились слёзы. Она бросилась к Артёму, но он оттолкнул мать. Медленно встал, на скулах нервно ходили желваки. Потрогал щёку, челюсть и куда-то в сторону процедил:

— Ненавижу. Гад.

И потом, глядя в глаза Степану, выкрикнул:

— Ты мне больше не отец! Понял?! Завтра же съезжаю.

Он рванулся из комнаты. Дверь хлопнула так, что звякнула посуда.

— Доволен? Ты этого хотел? Да? Да? — рыдала жена.

— Охренеть, — выдавил Степан и вышел.

... Снежинки таяли на лице. Холод проникал под кожу.

Грудов стяхнул с плеч белые погоны, зашагал мимо подъезда.

Он вошёл в первый же автобус.

За стеклом тряслись сумерки. «Напьюсь, — решил Степан. — В хлам. Идёт всё лесом». Картинки теснились в голове, и невыносимо сжимало грудь. «Я ему задницу мыл, а он — ненавижу», — Грудов до боли закусил кулак и выскочил в снегопад.

Горячий чай и беляш немного успокоили. Степан прилёбывал из пластикового стакана и соображал, кому позвонить. Соблазнять друзей на пьянку не хотелось, но пить «в одного» Грудов считал последним делом.

И только в магазине, у полок с алкоголем, он вспомнил про Бармалея. Бывший слесарь из Степановой конторы Борисыч имел острый, как шило, язык и постоянно цапался с начальством. Его редко видели трезвым, но зато на станке он выделывал такое, что самый премированный мастер рядом не стоял. Мужики частенько навещали пенсионера.

Грудов достал телефон, отыскал номер.

— Здорово были.

— Здоровей видали. Чего тебе?

Степан понял, что Бармалей в своём «нормальном» состоянии.

— Борисыч, к тебе можно? — начал он без обиняков.

— Проблемы?

— Типа того.

— Ясно. Короче, тут моя старуха марафет наводит. Праздники, едри твою за ногу. Подгребай через пару часов. И курева захвати.

— Понял.

— Ну давай, коли понял.

— Вот старый хрен, — ворчал Грудов. — Болтайся тут до морковкина заговенья.

Он взял ноль семь водки, палку колбасы, хлеб. После магазина казалось — малость потеплело. Но скоро опять натянул шапку чуть не до щёк. «Так дело не пойдёт, — ускорил шаг Степан. — Околою на раз-два. Где бы намахнуть?»

А снег падал и падал. И уже было непонятно: то ли небо валилось на землю, то ли земля врзалась в небеса. Всё кругом заполонило белое.

Пакет с бутылкой шаркал о брючину, зазывно напевал: «скорей-скорей, пей-пей, пей-скорей». Грудов ругал домофоны, бдительных жильцов, суетливых прохожих. Он был готов примоститься у забора, под деревом, но хлопья гнали в сумерки.

Собор вырós неожиданно, словно пароход из тумана. Грудов краем глаза выхватывал мерцание свечей в резных окнах. Он уже завернул за ограду, как вдруг открылись ворота, со двора выехал автомобиль. Сквозь решётчатые узоры Степан разглядел ладную беседку. Какой-то человек убирал снег. Старался он на совесть, и Грудов незаметно проскользнул в беседку.

Место превосходное! Справа забор, слева подсобка. Ёлки укрывают от лишних глаз, позади — стена. Если сторож закроет ворота, перелезть через забор — нечего делать. А главное — крыша! Степан поставил на скамейку пакет, отряхнул снег. Теперь можно и пять капель. Он вынул складник, отрезал ломоть колбасы, отвинтил крышку. Заглянул в горлышко: «Пить из ствола придётся. Стрёмно». Но по-другому не выходило.

Водка была противной, колбаса стылой. Степана передёрнуло, но в груди потеплело. Он сел. Холодное стекло обжигало ладонь.

«Докатился»,— почти вслух подумал Степан, снова прикладываясь к бутылке.

Он почти согрелся, мёрзли только ноги. Его отпускало. Зато проснулся голод. Степан поглядел на часы — ждать ещё прилично.

Кресты собора казались мачтами, только вместо парусов — туго натянуто снежное полотно. Белый корабль уверенно рассекал небесные воды. Волны лизали борта: «ширк-ширк».

Это не волны, понял Степан. Это лопата дворника. Да, именно так звучало в детстве, когда они с отцом чистили двор. В деревне наметало почти до крыш, и потому горку можно было заливать до соседского огорода. Степан вспомнил свою детскую лопатку и как громко смеялся отец, когда они влетали на санках в сугроб. Вспомнил, как они с Артёмом и дедом лепили снеговика... Грудов помрачнел.

— С праздником, молодёжь!

Дворник напоминал Деда Мороза: весь в снегу, окладистая борода, ушанка до бровей, огромные рукавицы. В свете фонаря лица почти не видно.

— И вам не болей, — поспешил ответить Степан. — Праздники вроде как кончились?

— Тоже скажешь — кончились. Святки на дворе. До сочельника веселимся!

— Кто-то, может, и веселится, — Грудов поднял воротник. — Я тут заглянул на огонёк. Не помешаю?

— Мне-то что? Сиди. Только в храме вроде как теплее.

— Нельзя мне в храм, батя. Я уже приобщился, — Степан кивнул на бутылку.

— Ты поаккуратней с такими словами, паря. Приобщаются святых таинств, а технарь — жрут.

Дворник воткнул лопату в сугроб, отряхнул шапку, сел рядом.

— Как зовут?

— Степан с утра был.

— Языкастый ты, однако.

— Что есть, то есть, — Грудов вздохнул. — А больше ничего и нет.

— Так не бывает, — сказал, помолчав, дворник. — Чтоб совсем ничего. Жена, дети?

— Имеются. Толку-то? Сын почти с меня ростом. Жрёт да пузо на диване греет. Баба ему сопли вытирает. Слушай, батя, — оживился вдруг Степан, — не составишь компанию? Только я без стакана.

— Не-е. Я своё уже выпил.

— Да за праздник. Сам Бог велел!

— Ты не путай Божий дар с яичницей. Бог велел радоваться. Духовно! Понял?

— Ни хрена я не понял. Я сегодня малому по сопатке заехал. А ты говоришь — духовно.

Грудов запрокинул голову. Водка шумно вкатилась в горло. Закусив горстью снега, повернулся к дворнику:

— Вот такие дела, отец. Точно не будешь? Ну хоть для сугрева?

— На кой мне это баловство?

Степан разглядел глубокие борозды морщин, седые, до плеч, волосы и... глаза — ясные и печальные одновременно. Он отвернулся.

— Угораздило ж тебя, — сказал дворник. — В такой праздник.

— Праздник как праздник.

— Ну не скажи. Ты хоть знаешь, кто родился?

— Христос.

— Именно. А кто Он?

— Ну, этот. Как там? Добру вроде учил, а Его распяли.

— Да-а. Невелики познания.

— Я в душе верю. Мне хватает.

— Чего тебе хватает? Тоску запивать, колбасой давиться? Ты вдумайся. Родился Сын Божий! И где?

— В Палестине, что ли...

— В хлеву скотском! На соломе. А знаешь зачем?

— Ну?

— Баранки гну. Чтобы тебя, дурня, спасти. И сына твоего — оболту-са — тоже. Это ж какую любовь нужно иметь к людям. К Отцу.

— Отцу?

— Конечно. Отец Его и послал сюда. В холод, голод. Представляешь, каково Ему отдавать Сына на смерть. Вот что значит любовь отцовская!

Степан мотал головой:

— Батя, зачем ты всё это рассказываешь? Я верю: там что-то есть. Но там! Не здесь. Здесь — полная задница.

Плюнул зло в снег.

— Эх, паря. Не прав ты. Всё — тут, — старик легонько постучал по груди Степана.

— Каждому своё.

Помолчали. Дворник поднялся:

— Ладно, у меня дел невпроворот. Если замёрзнешь, вон моя сторожка. Только без водки, — снег тонко скрипнул под валенками. — Смотри-ка, валит и валит.

Грудов тоже вышел из беседки. Над ними зияла бездна. Из самой черноты, кружась, низвергались мириады белых крыльев. Безмолвно. Мнилось, ещё немного — и Степан, и чудной старик, корабль-собор и окрестные дома превратятся в снежных птиц...

— Отец, давай помогу, — сказал Грудов.

— Нет. Мне своё перед Богом отработать надо. Самому, — ответил дворник. — Шёл бы домой, паря. С Богом!

«Ширк-ширк», — неспешно затянула лопата.

Грудов убрал водку и закуску в пакет. Пить здесь ему не хотелось.

...Он не заметил, как прошёл остановку. Другую. И только когда в кармане заверещал мобильник, вспомнил, куда и зачем ему нужно. — Ты где, ...? — ругался в телефоне Бармалей. — Борисыч, отбой, — слова вылетели сами.

Степан не спешил их возвращать. Не спешил и оправдываться. Молчал.

Молчал и Бармалей. Потом выдал:

— Ну ты баламут... Ладно, хрен с тобой. Нет так нет. Пишите письма, адрес прежний.

Алкоголь выветрился, и опять стало холодно. Степан поймал такси.

Свет в окнах не горел. Грудов потоптался на крыльце. Швырнув пакет в мусорный бак, достал ключ.

Жена, по всей видимости, спала. Сын — тоже. Степан быстро разделся, прошёл на кухню. Свет включать не стал. Просто сидел у окна, наблюдал, как кружат снежинки. Отсюда их танцы уже не представлялись бессмысленной чехардой. Это было нечто неделимое, цельное полотно: чёрные зрачки, дрожь в руках, плач жены... и дальше — старик, лопата, собор и снег, снег, снег... а ещё...

Степан поднялся. Было тихо, как бывает только в темноте. Только часы с кукушкой — подарок деда — негромко тикали. Степан подошёл к двери сына. На столе горел ночник. Артём всегда засыпал со светом; детские страхи не прошли до сих пор.

Отец медленно опустился на край тахты. Сын лежал на боку, заложив ладони под щеку. Одеяло сползло с плеча, дыхание ровное. И всё-таки морщинка на лбу да чуть вздёрнутые брови нарушали покой этой комнаты. «Эх, паря», — вспомнилось Степану. И тут жалость, та самая, которую так старательно прятал даже от домашних, вырвалась из сердца, поглотила без остатка...

В горле шевелился ком. Он закрыл лицо руками, но плечи тряслись и тряслись.

Сын спал. Что ему снилось? Дед, горка в деревне? Или Рождество, где Отец безмерно любит Сына, а Сын Отца?

Степан укрыв своего мальчика и вышел.

Уже в постели, отключая звук на телефоне, увидел сообщение. Оно пришло, когда пил в беседке. «Прости меня, пожалуйста, ПАПА».

За окном было чисто. Снегопад кончился. Фонари заботливо освещали двор. Над фонарями в прозрачных январских небесах ярко горела звезда. Одна-единственная.

Владимир Монахов

ПИСЬМА ЛЮБИМОМУ

В этих письмах всё неизвестно — кто и кому писал, откуда и в какой город. Даже человек, передавший их мне как отклик на одну из публикаций, не стал представляться, а лишь предложил: «Прочтите! Это вас должно заинтересовать. Может, пригодится для печати. И не беспокойтесь — этих людей уже нет...»

Я читал с восхищением, а порой даже с завистью, читал с тайной мыслью: если бы это мне писали такие письма! Но не каждому может так повезти — подобное надо заслужить ответной любовью. Той самой, в которую одни верят, а другие — нет, потому что некоторых она накрыла своим ангельским крылом, а другие в это время предпочли стоять в стороне. И хотя в самом начале я сказал, что в письмах всё неизвестно, на самом деле главное действующее лицо — Любовь — навсегда поселилось в этих строках, не тускнея от времени. Прочитайте и убедитесь в этом сами. Как когда-то впервые это сделал я.

«...Три дня под впечатлением твоего голоса, любимый! Но звонить больше не буду. Ты такой чужой, официальный, торопящийся. Лучше будешь звонить ты... Звонить и молчать, как часто ты делал. Это и то ближе!»

«Город тепла. Доброму человеку. Здравствуй! Всё сделано для того, чтобы можно было биться о стену, а ты не услышишь. Чудо века! Цивилизация! Расчёт! Машины! Разум! Пустота! Жуткая пустота! Не ощущаю ни своего тела, ни души, ни даже оболочки. Жизнь оборвалась без всяких надежд. Время, которое будет нас разделять, настолько велико, что исчезает всякая иллюзия о будущей встрече. Всё думаю: где же я? Неужели вся дотла растворилась в тебе? Ничего мне не осталось. Меня нет. И конвертов твоих нет. Пасмурно и худо. Никогда мне не было так неуютно, как сейчас без тебя и твоих писем. Ничего не хочется, только взглянуть на тебя, отразиться в твоих глазах, ощутить твои губы, прикоснуться...»

«Любимый! Родной! Самый нежный! Самый добрый! Какое горе постигло меня! Расстояние разорвало наши губы, и я истекаю в жутких страданиях тоски и боли по тебе! Большого горя я ещё не знала... целую каждую клеточку твоего сердца!»

«Мне очень нужны твои письма. Позови меня, увлеку, забери меня в свои мечты, вызволи из реальности. Я здесь погибаю, я уже погибла и теряю веру в будущее, где есть и будешь ты!»

«Здравствуй, мой милый, добрый, нежный и сильный человек! Мне нелегко одной, без тебя. Я всю жизнь занималась не тем. Вдруг пришло раскаяние и сожаление, страх, что за спиной больше прожитых без тебя лет, чем впереди с тобой. Всю жизнь я занималась устройством чужих жизней, была жертвой, искала себе силы в слабости других. Кроме этих грустных размышлений, существует ещё реальная сегодняшняя жизнь, совершенно мне непонятная. А главное — опять без тебя... Ты говоришь: „Мы зависимы, прикованы объективной принудительностью“; ты повторяешь: „Надо ждать, и с близкими надо считаться“. Иногда я тоже так думаю и ради „близких“ поступаю разумно. Но когда близкие стонут от моей душевной окаменелости, когда плачут от моей ненависти и раздражительности, когда я вою в подушку и мечтаю об автомобильной катастрофе, о несчастном случае (у меня часто болит сердце), тогда как? Глупо задавать вопросы, я сама вершу свою судьбу, и никто мне не мешает открыть дверь и уйти, даже не к тебе, а в пустоту... Но сил нет, веры нет, впереди ничего не вижу, даже тебя... Хотя ты — это самое великое счастье! Ты единственный, ради кого я по утрам открываю глаза... Но я хорошо понимаю, что со своими страданиями тебе не нужна. Что делать, куда идти? Обо мне ты ведь ничего не знаешь. Ведь у меня никогда такого чувства не было и больше не будет... Я не нуждаюсь в своём „богатом домашнем мире“, где нет тебя. Я хочу в твой мир „простых заработков“. Как безумно хочется тебя видеть, посмотреть в твои глаза — может, это снова придаст мне силы, чтобы хотя бы думать разумно. Как безумно хочется прикоснуться к тебе! Целую тебя! Как я тебя целую, Господи! Неужели ты не чувствуешь, как я тоскую вдалеке, как радуюсь твоим письмам, как я вся переполнена тобой и как я вся каждой клеточкой твоя?»

«Я без тебя совсем одна. Ищу в тебе силы стать свободной. Звонит последний колокол, а я боюсь не услышать... Зови меня, целуй меня, люби меня, заставь меня жить только тобой!»

«Получила два твоих письма, самых лучших письма в мире. Есть ли такие слова, которыми можно передать мою благодарность? Эти долгие ночи и дни без тебя с новой силой захлестнули большим светлым чувством, которое струится из твоих писем. Всё, что было раньше, кажется такой неправдой, такой ложью, такой нежизнью. Как хочется всё изменить, начать с нового отсчёта. Хороший мой, самый нежный, самый добрый! Люблю тебя! Кроме этого чувства к тебе и твоей правды, у меня больше нет ничего на этой земле».

«Ночь. И пришёл ты. И сердце, и душу полоснуло лезвие действительности... Вот она где, боль, вот они, слёзы, мольбы в подушку... Вот она, настоящая беда: ты есть в мире — и тебя нет рядом со мной. Я тебя обнимаю, а ты меня не слышишь, не держишь за руку. Мы на разных берегах, а между нами огромное бушующее море... Медленно гуляла по улице. Шёл снег. Мокрый и грязный. Некуда деться. Заглянула на почту. О, если бы мне выдали сейчас твоё письмо! И моё желание сбылось!»

«Мой миленький, мой маленький бог, мой большой человек! Ничего не изменилось, кроме одного: тоска по тебе ещё горше, любовь к тебе ещё ярче и твёрже... Я призываю тебя стать сильным, как я! Прекратить неверия и сомнения! Ты хороший! Ты самый лучший! Перестань бояться жизни! Получила твои письма, и — о ужас! — обвинения: я молчу! Это я молчу?! Я пишу тебе по несколько раз в день, я разговариваю с тобой ежеминутно. Я ишу себя только для тебя!»

«Сегодня очереди на почте не было. Я получила кучу писем и телеграмму. Тут же села, прочитала... Мне очень трудно говорить с тобой сегодня — надо сосчитать до миллиона, а на это понадобится вся жизнь».

«„Забудь — писем не будет!“ Как странно и неправдоподобно прозвучал этот текст телеграммы. Он навалился на меня как укор, как вина, как обида. За что? Я пыталась понять, до какого состояния тебя надо было довести, чтобы ты послал такие слова своему единственному другу... Я стала случайной девкой, которую можно походя выбросить. Зажать в угол обстоятельствами до предательства... Но нельзя же быть таким слабым, чтобы предавать не меня, а себя, вышвыривать из жизни друзей ради сиюминутного благополучия... Я никогда не принуждала тебя бросить семью, стать моим мужем... Я по другим канонам рассматривала наши отношения. Я их взрастила, я их лелеяла, я их берегла. И им никто не мог быть помехой: никакие мужья, родители, дети, общественность».

«Пасмурно. Туман от мороза. Снег. Стужа. Одиноко. Ненужно. Устала. И письма я твои получаю — сигналы о твоём существовании, отчёты о прожитых днях без меня... Читаю, складываю в архив и думаю: как люди могут над собой издеваться, создавать своими руками себе ад. Извини, строитель ада!»

«О тебе я всё равно думаю как о драгоценной реликвии, которая под семью замками, потому что слишком ценна, чтобы ею пользоваться каждый день... Даже тебе самому это не дано. И чем больше дней нас разлучает, тем глубже моё чувство к тебе, тем больше ненависти к обществу, окружающему меня. Только ты, только ты, только ты. Только с тобой, только с тобой! Только для тебя, только для тебя,

только для тебя! Как жаль, что ты не можешь мне помочь. Кроме как от тебя, я не хочу принимать ни от кого протянутую руку».

«Мне понравилось твоё последнее письмо, перечитывала по три раза на дню. Ты бодр — лето делает своё дело. Особенно мне понравилось замечание, что ты совсем не изменился — значит, по прежнему любишь меня!»

«„А вы — другая!“ Нет, мой милый, ничего не изменилось. Просто устала, очерствела, замерла во мне вся женская суть. Нам нельзя быть далеко друг от друга так долго. Когда я получаю твоё очередное письмо, появляется шальная мысль всё бросить и мчаться к тебе немедленно. Но для этого нужно твоё желание, а ты молчишь!»

«Помни, есть я — твой друг и желанный человек, пусть тебя не пугает и не тяготит моё присутствие в твоей жизни. Кроме добра и тепла, я тебе ничего не принесу. Я не связываю тебя никакими узами, ничего не требую... Я отдаю тебе свою душу, я люблю тебя. Кто-то сказал: „Наш дом — это чужая душа“. Это обо мне для тебя!»

«Голос! Я услышала его на расстоянии. Там, за стенами... Сердце сжалось, дыхание стало нервным... Сколько раз я слышала его в своём воображении, сколько раз просыпалась ночью от ощущения твоего дыхания, прикосновения. И так же гулко билось сердце. Но на этот раз это не галлюцинации. Глаза в глаза! Внутренний рывок! Взаимный! Настолько яркий, что если бы последовали на глазах у всех объятия и поцелуи, земное притяжение разрушилось бы. Мы бы ушли далеко-далеко, на другой уровень общения. Но нам достаточно было взглядов, чтобы снова начать жить друг другом... И совсем не нужны были слова. Я дожидая до тебя. Мы есть!»

«С какой болью и тоскою я расстаюсь с тобой каждый раз! И с первых метров нашей разлуки начинается новая, мучительная, но счастливая жизнь ожидания. Как я жду тебя! Жду уже сегодня, спустя 12 часов. Перечитываю твои слова на страницах записной книжки, тоскую, радуюсь, что ты есть, и бесконечно жду... Это к тебе так долго добираться, а от тебя самолёты уносят с бешеной скоростью. Лечу, и главный хирург жизни — разум — взялся за ампутацию памяти».

Суицид

...для взаимной пылкой любви необходимо много свободного времени...

Из фольклора XX века

Мой школьный товарищ, сорокалетний офицер ФСБ Виктор Полуянов, пустил себе пулю в лоб. Застрелился, с точки зрения здравствующих,

немотивированно и не оставил никакой разъяснительной записочки о причинах отчаянного шага.

Хоронили его скромно, без военных почестей, суетно и скупо на слова, будто бы старались в молчаливом сговоре быстрее замять и по возможности даже стереть из памяти текущей активной жизни этот прискорбный факт, который ложился позорным пятном на всю малочисленную местную службу госбезопасности небольшого сибирского городка. Поэтому его бездыханное тело в последний путь отправилось преимущественно в узком окружении сослуживцев и их жён.

И то, что среди провожающих были два его школьных товарища — я и Валерка Слущенков, оказалось чистой случайностью. Полуянов жил со мной по соседству, а Валерка со своей женой накануне приехал ко мне погостить и с корабля угодил на похороны. Тем не менее, и в этой закрытой немногочисленной процессии, и на кладбище вокруг могилы, а затем уже на вязких поминках, где публично говорились только казённые слова, люди тихо перешёптывались, стараясь в привычном им тихом обмене информацией за стенами тайных кабинетов дошептаться до причин самоубийства.

На похоронах с Валеркой и его женой мы держались особняком. Чужие для этой среды люди, жили хотя и рядышком, но не вместе. На кладбище мы отмалчивались, предоставляя возможность говорить другим, и внимательно слушали: о чём перешёптывалось недоступное нам в бытовой жизни окружение?

Версий было две. Смертельная болезнь, которую Полуянов решил прервать столь радикальным даже в кругу местных работников госбезопасности способом. Болезнь действительно имелась, но не настолько смертельная, как казалось здравствующим. Но кто знает, что на самом деле испытывает один на один с болезнью человек, подтачиваемый фактом недуга?! Версию болезни поддерживала мужская часть, и каждый примерял на себя: пошёл бы он на такой шаг? Мужики были в основном здоровые и потому, по определению, плохо понимали, как можно так поторопиться на тот свет, к тому же не оставив никаких распоряжений. Тем более что Виктор Полуянов был их начальником, который только-только пошёл в карьерный рост и возглавил местную службу госбезопасности. Как говорится, не по уставу.

Вторая версия была романтической, и её больше обсуждали жёны суровых мужчин. Им мерещилась за смертью несчастная любовь. Правда, предмет тайной страсти, который якобы толкнул нашего товарища на суицид, оставался даже в этом закрытом, но во всём осведомлённом кругу неизвестен. Что-то там произошло, где-то далеко, в одну из командировок, после которой он вернулся сам не свой и впал в затяжную депрессию с тяжёлым пьянством. Но потом образумился, дела пошли в гору — и на тебе: пуля в лоб.

Нам тоже хотелось узнать правду. Но других версий в наших головах не рождалось, потому что мы вообще мало что знали о Викторе

Полуянове с тех пор, как он стал служить в госбезопасности. Он умел конспирироваться даже в нашей тихой жизни заштатного городка, а в редкие встречи ничего не удалось узнать из его жизни. Фальшь улыбки всегда, будто намертво приклеенная, держалась на его губах, и оброни он случайно при мне в эти минуты скупую мужскую слезу, она не восстановила бы правды человеческого лица. Мне каждый раз казалось, что он чувствовал себя человеком только за сформированной тайной службой маской и снимать её даже перед своим школьным товарищем не хотел. Лишь однажды он меня спросил, верю ли я в загробную жизнь. На это я снисходительно хмыкнул, и он, расценив однозначно мой бессловесный ответ, тут же поддержал иронию так: вот и я тоже думаю, что на том свете у каждого своя сплошная тьма и для нашей встречи нет никого. К чему приложить этот пустой разговор, к каким событиям его жизни — теперь не угадать, и должна ли она заканчиваться самоубийством внешне благополучного человека — рассуждать бессмысленно.

— А может, его убили, а инсценировали самоубийство? — прошептал мне на ухо Валерка Слущенко, когда мы возвращались с поминок домой.

— Да брось ты! — махнул я на него рукой. — Птица не того полёта.

— А откуда ты знаешь?

— Знали бы, хотя бы по слухам! — был самоуверен я.

— Тогда ты веришь в болезнь?

— Я видел его две недели назад — он, как всегда, был закрыт, будто застёгнут на все пуговицы, но никаких жалоб на здоровье от него я не слышал. Полуянов при встречах всегда так ловко выстраивал разговор, что больше говорил я о недостатках нашей городской жизни, а он только запоминал факты.

— О чём вы говорили?

— Я про воровство местных чиновников. Да об этом говорят у нас все, особенно на базаре.

— А несчастная любовь вас не устраивает? — вмешалась в разговор супруга Валерки.

— Об этом известно ещё меньше — и вовсе ничего. Но стреляться из-за любви ещё глупее, — был категоричен я.

— А что мы знаем про него сегодняшнего? — сказал Валерка.

— Да почти ничего. Но он не похож на самоубийцу.

— А ты вообще думаешь о таком способе ухода из жизни?

— Я? Ну, если быть честным, то — да!

— А зачем думаешь?

— Ну, это как терапия: вот умру — все меня пожалеют, а я из гроба буду наблюдать за вами. Ну, это всё уже сто раз описано в литературе.

— А ты бы стал стреляться из-за любви? — неожиданно спросил меня Валерка Слущенко.

— Я? Никогда! — решительно отвёл его вопрос. — А ты такую мысль для себя допускаешь?

— Да, я бы, наверное, покончил с собой, если бы любимая женщина меня отвергла или, пуще того, умерла бы! Наверное, застрелился бы или там другое, — невозмутимо ответил Слущенков как о чём-то давно для себя решённом.

— Да брось ты! — я был просто ошеломлён таким заявлением.

Одно дело — просто думать об этом, а другое — решиться на это, даже в словах.

— Не, на полном серьёзе: нет любви — нет жизни! — склонность к банальной афористичности водилась за ним.

— Ну ты даёшь! — я в замешательстве смотрел на Валерку, пытаюсь понять: он говорит правду или так, для красного словца наигрывает ситуацию, как в школьном драмкружке, куда мы с ним ходили в старших классах по просьбе наших подруг?

Но по его строгому задумчивому виду понимал, что он сейчас откровенно делился своими подлинными чувствами.

И в эту же минуту я выхватил у него за спиной лицо жены. Она смотрела на Валерку Слущенкова с таким обожанием, восторгом, с той самой любовью в глазах, за которую он готов был здесь и сейчас умереть! А я на фоне её рыцаря любви выглядел замшелой равнодушной скотиной, недостойной даже взгляда стоящей с нами рядом женщины, которая обожала Валерку в эту минуту так сильно, что, казалось, мы не с похорон идём, а из театра, где давали восхитительное представление.

Меня настолько это выбило из равновесия, повергло в затяжное уныние, что я предпочёл надолго замолчать. Лишь спустя пару часов, дома, стоя на балконе с сигаретой, я осмелился напомнить:

— Валер, ты серьёзно готов ради любви застрелиться?

— Ты что, с ума сошёл?

— А чего после поминок нёс?

— Чёрт его знает, тогда казалось, что смог бы, — виновато улыбнулся он.

— Ну у тебя и шуточки, — расслабился я, хотя чувство обиды на Валерку не проходило, а постепенно перетекало в какую-то кочевую злость и желание даже смазать ему по морде.

— Бывает, — криво усмехнулся Слущенков.

И я читал в его лице такую же искренность, как пару часов назад, когда он демонстрировал готовность если не умереть, то хотя бы пострадать за любовь.

ЛУКОВАЯ ДРАМА БЕЗ ШЕКСПИРА

Жена вернулась с работы и сказала с порога:

— Ехала в автобусе, а на заднем сиденье немолодая пара всю дорогу обсуждала, где лук лучше и дешевле...

— И что? — равнодушно спросил муж.

— Как это «ну и что», Саша? Полчаса ехали и говорили только про лук. Где крупнее, где посуше, где дешевле, и всё не могли прийти к согласию. Спорили, обижались друг на друга. Да так шумно, на весь автобус, — видимо, уже плохо слышат. . .

— А потом что?

— Как ни в чём не бывало вышли на нашей остановке, он взял её под ручку, и пошли, наверное, этот лук самый лучший покупать, про который всю дорогу на весь автобус трезвонили.

— А ты проследила, куда они пошли?

— Зачем?

— А нашей семье что, хороший и недорогой лук не нужен?

— Вечно шутишь. А я серьёзно!

— Значит, всё хорошо у старичков?!

— Чего же хорошего, Саша?! Им что, только и остаётся всю оставшуюся жизнь про лук говорить? Больше не о чем?

— Почему только про лук? В другой раз они про другое поговорят. . . Главное, что им интересно, полчаса про лук говорили и не надоели друг другу!

— Так-то оно так, — соглашается жена с разумным предположением мужа. — Но хотелось бы не про лук, например, а про Шекспира. . .

— Шекспир в этом семейном разговоре никакой драмы не увидел бы. Любишь ты к мелочам жизни придирается и водевили устраивать дома. . . Вот мы тоже о чём с тобой сейчас говорим — про этот же лук!

— Да ну тебя! — рассердилась супруга. — А я серьёзно. Скучно же так долго и увлечённо про лук. . .

— Ничего не скучно — вот говорим же с тобой несколько минут с жаром и полемическим задором. И обрати внимание — только про лук!

— А к нам в город оперная дива Любовь Казарновская приезжает, — решила переменить тему жена. — Ты как, согласен меня сопроводить в субботу на концерт?! Я уже и билеты заказала. . .

— Согласен! Только хотелось бы узнать: а ужинать мы чем сегодня будем?!

— Луком! — рассмеялась удачной шутке жена и, напевая арию «Смейся, паяц, над разбитой любовью», пошла на кухню готовить.

Здесь лежит лучший нищий. . .

*был зачат в чистой любви
и прожил чистую жизнь
теперь ждёт — чистую смерть*

Здесь лежит лучший нищий нашего городка по имени Миша.

Так и написано: Миша, — потому что фамилии его никто не помнил, а документов при нём не было.

Стал Миша широко известным, когда выиграл в лотерею — билет ему, за отсутствием мелочи, подал случайный прохожий. . .

А выиграл Миша очень много денег. Так много, что не знал, как с ними поступить...

И тогда добрый Миша, бывший нищий, объявил всем окрестным людям, что готов раздать долги каждому в многократном размере, кто хоть раз подал ему рубль...

Миша так и объявил:

— Раздам долги всем, кто хоть раз мне в жизни помог!

И что тут началось в нашем Братск-рае!

На меценатский порыв Миши набежало много желающих поправить своё материальное положение. Так много, что у нищего, выигравшего в лотерею очень большие деньги, не нашлось даже столько купюр... Но собравшиеся были убеждены и доказывали в очереди друг другу, что всю жизнь подавали ему свои трудовые гроши и имеют полное право на вспомоществование...

И тогда Миша искренне возмутился. Он стал упрекать земляков в нечестности.

— Да как вам не стыдно?! — кричал разбогатевший нищий в толпу. — Многие из вас выгоняли меня зимой из подъездов, где я пытался переночевать, другие говорили мне в спину гадости и никогда не протянули ни рубля, ни куска хлеба... А сейчас пришли за деньгами...

И тогда оскорблённая толпа, с налитыми в гнев жадной денежных знаков глазами, бросилась на одинокого растерянного человека, которого некому было защитити...

Да как он смеет нам не верить?!

И затоптала разбогатевшего нищего со всеми его деньгами всмятку.

Потом были пышные похороны, слёзы покаяния, стыда и отчаяния: что же это мы наделали? Разве мы не люди?

Не люди, — напоминал из закрытого добротного гроба нищий Миша, который так неожиданно разбогател, но так и не сумел воспользоваться деньгами, потому что зачем-то пытался осчастливить наш городской мир, который за это его и убил.

Спи спокойно, дорогой Миша! Пусть теперь земля будет тебе доброй матерью.

БАНАЛЬНАЯ НЕРОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

— Наголо? — переспросила удивлённо парикмахер.

— Да! — ответил я.

— И не жаль такие волосы? — вздохнула мастер. — Тридцать лет вас стригу, а шевелюра — как у молодого!

— Ничего, ничего — новые отрастут!..

Через несколько минут из зеркала на меня смотрело чужое лицо новобранца — таким я себя помню только один раз, когда шёл служить в Советскую Армию.

— Сколько должен? — спросил я у мастера.

— Да Господь с вами, — взмахнула женщина руками. — Разве это работа? За такое и деньги брать стыдно. Не понимаю — зачем вам это?

Я промолчал. Одедся, натянул на лысую голову кепчонку, подхватил сумку, попрощался и вышел из парикмахерской.

На улице ощутил холодное дыхание ранней зимы, которая началась в наших краях в октябре. Путь был коротким.

Долго ждал в коридоре. Вот из-за угла выплыла жена в домашнем халатике, который ей стал велик. Шла бочком, бледная, шаркая тапочками. За эти дни заметно состарилась. Защемило сердце, но я постарался улыбнуться. Жена молча села рядом и посмотрела вопросительно. Я отвёл глаза, медленно снял шапку и провёл рукой по лысой голове.

— Ты тоже?! Зачем? — прошептала она и беззвучно заплакала, поправляя косынку, под которой не было волос из-за регулярной химиотерапии, которую она проходила.

Посетители онкологического центра не обратили даже внимания на нас. У каждого была своя беда.

СЮЖЕТ ДЛЯ АНТИРОМАНА

Какой бы сюжет кто ни взял, для большинства в нём всегда будет высказано слишком мало, но для людей умелых всегда будет сказано слишком много.

Люк де Клапье маркиз де Вовенарг

Как только в мире завелась литература, а у неё образовались кружки читателей, родилась крамольная мысль: «И моей жизни хватит на целый роман». У кого родилась? Да у каждого, кто хоть раз прочитал до конца толстую книгу и прожил, по крайней мере, лет сорок. Такой читатель, захлопнув мечтательно-увлекательный томик прозы или стихов, начинал думать, что ежели кому-то из этих бойких ребят рассказать свою жизнь, то он из неё настроит добротную книжицу, которую с удовольствием прочтает полтора миллиона образованных людей. Эта мысль давно мучила Платонова, и он мечтал её осуществить в реальной жизни. Рассказов у него хватало, и слушатели даже иногда встречались, но только не было среди них ни одного, кто бы мог это складно изложить на бумаге.

Но однажды Платонов такого человека встретил. Правда, книжечка у него была тонкая, и не прозы вовсе, а стихов, и прочитало её не больше ста человек, поскольку тираж её был всего двести, и сто первый экземпляр с дарственной надписью Платонов получил от автора. Дело было даже не в книжке стихов — Платонову поручили сопроводить автора к герою труда. Это было время, когда редакция газеты, где работал поэт, интересовалась рабочими людьми и регулярно публиковала о них героические очерки. Вот и нашего поэта направили в бригаду Никиты Петровича Зосимова, чтобы создать портрет бригадира-орденоносца. А Платонов был над этой бригадой мастером.

Пока находились в пути, журналист расспрашивал Платонова о бригадире. Но, к своему удивлению, мастер, хотя проработал с Зосимовым лет двадцать, ничего существенного рассказать не мог — только голые факты биографии, проценты выработки, общественные нагрузки, перечень грамот и правительственных наград. По вопросам журналиста чувствовалось, что тот недоволен собеседником.

Особенно недоволен тем, что Платонов как-то незаметно переводил разговор на себя и пытался обстоятельно рассказать новому знакомому свою жизнь. Журналиста жизнь Платонова не интересовала. И он как-то быстро скис. В тайге, в рабочем вагончике, Зосимова не обнаружили, хотя вся бригада была в сборе и судорожно хлебала крепкий чай. Чувствовалось, что парни с большого похмелья.

— А где бригадир? — поинтересовался Платонов.

— Готовит новую площадку, — ответили вяло рабочие.

— А вы прохлаждаетесь?

— Успеем ещё наработаться — нам сегодня в две смены, — буркнул один из лесорубов.

— Это за вчерашний прогул? — проявил свою осведомлённость Платонов.

— Всё-то вам известно!

— На то и поставлен, — усмехнулся Платонов.

Разговор не клеился. По всему было видно, где-то у них припасена бутылочка водки. И рабочий класс демонстрировал недовольство ранним прибытием хоть и небольшого, но всё же начальства, да ещё с непрошеным чужаком-журналистом. Доставать бутылку при гостях они не решались.

— Ну, расскажите товарищу журналисту про вашего орденоносного бригадира, — настаивал Платонов.

— А чё рассказывать? Работает как лошадь и другим покоя не даёт! Только нам от его орденов ни холодно ни жарко, — буркнул всё тот же работяга.

— Ну-ну, полегче, — одёрнул болтуна Платонов.

— Полегче так полегче, — согласился с ним рабочий и замолчал.

— Что, грозный бригадир? — задал первый вопрос журналист.

— Злой на работу! — сказал всё тот же голос. — Выработка самая высокая.

— А разве это плохо? — цеплял журналист.

— Начальству хорошо, а подчинённым тяжело!

— А когда у кассы стоите за зарплатой? — вмешался Платонов.

— У кассы хорошо, — согласились с ним рабочие. — Кому ж у кассы плохо?

— Нам касса — свет в окошке, — кто-то отшутился.

— То-то! — развеселился Платонов и добавил больше для журналиста: — Я над всеми начальник, а получаю меньше вашего.

— Так идите к нам на валку, будете тоже при больших деньгах, — съязвил рабочий.

— А ты на моё место, — огрызнулся Платонов.

— Образованием не вышел!

— Тогда помалкивай. Ну что, поедем к Зосимову? — спросил у журналиста Платонов.

— Поехали, — быстро согласился журналист, чувствуя, что из трудового коллектива ничего вразумительного сейчас не вытянуть.

Зосимов принял гостей тоже сдержанно.

— Времени нет разговаривать. Ну, задавай свои вопросы, — сказал журналисту и, закурив крепкую папиросу, присел на бревно, разминая натруженные ладони.

Журналист быстро достал блокнот, стал энергично задавать вопросы, Зосимов отвечал однозначно. Разговор явно не клеился. Минут через десять Зосимов поднялся:

— Надо работать.

Не обращая внимания на возражения журналиста, включил бензопилу.

— Эдак я ничего не напишу, — впервые растерялся журналист, обращаясь к Платонову за помощью.

— Бесплезно спорить! — отреагировал Платонов.

Постояв пять минут и понаблюдав за работой бригадира, спросил:

— Ну, что будем делать?

— Я не знаю! — растерянно смотрел на мастера журналист. — Мне без материала никак нельзя возвращаться.

— Зосимов, слышь, человек ведь тоже работает. Ему без материала возвращаться в редакцию нельзя.

— А я тут при чём! На все его вопросы я ответил. Он, что ли, за меня кубометры даст? — ответил Зосимов.

— Понимаете, — начал объяснять журналист, — надо поговорить без спешки, на это нужно время.

— Некогда! — отрубил Зосимов.

Платонов и журналист отошли в сторону. Молчали.

— Я не знаю, чем вам помочь, — сказал Платонов. — Всё, что можно рассказать о нашем орденоносце, я вам рассказал.

— Этого хватит только для короткой заметки, а мне надо написать большой материал! Всё это я в отделе кадров прочитал. Мне нужно что-то живое. Необычное. Яркое.

— Да что тут необычного? Весь день стоит с бензопилой, валит да режет древесину. Вся яркость — в ведомости на зарплату да когда орден очередной дадут.

— Но другие тоже валят да разделявают, а выделили этого.

— Больше всех валит...

— Но этого мало для очерка...

— Для очерка? — удивлённо встрепенулся Платонов. Это малознакомое слово почему-то поразило его. — Да, наверное, мало. Эй, бригадир, ну-ка пилу выключай, — решительно скомандовал Платонов.

Но тот даже ухом не повёл.

— Я же говорил: бесполезно, — сник Платонов. — Вспомнил! У него жена в соседней бригаде кашеварит. Поехали к ней...

Возвращались Платонов с журналистом в город к вечеру. Журналист что-то там дописывал в блокнот.

— Ну, теперь-то хватит для очерка? — поинтересовался Платонов.

Ему уже надоело молчать.

— Негусто, но выкручусь, — сказал журналист.

— Ну и работка у вас. Если народ друг про друга ничего сказать не может, откуда вы столько материала берёте?

— Сами догадайтесь!

— Выдумываете?

— Фантазируем! — улыбнулся журналист.

— А если к вам вот так неожиданно подойти и потребовать рассказать о себе — много напишете? — перехватил инициативу Платонов.

— Чёрт его знает! Мне никто таких вопросов не задавал, про меня ведь не писали.

— Как же — вы целую книжку стихов выпустили, я как читатель вот интересуюсь.

— Вы первый, кто проявил ко мне интерес.

— Не может быть!

— Почему же не может? Очень даже может. Люди живут рядом всю жизнь, а трёх слов друг про друга вымолвить не могут.

— Вы имеете в виду жену Зосимова? Так она неотёсанная тётка, три класса образования, повариха.

— И с высшим образованием люди не лучше. Это вообще проблема — рассказать о человеке. Поверьте мне, я-то уж знаю. А если люди рассказывают, то столько вранья.

— Вранья?

— Конечно! Тютчевым сформулировано: слово сказанное — ложь!

—А, ну да, ну да! — Платонов как-то быстро скис и погрузился в свои мысли.

А журналист тоже гонял мысли в голове, радуясь, что Платонов от него отстал.

А Платонов думал: как же так, вот сколько раз он мечтал рассказать о своей жизни грамотному человеку, чтобы тот сложил из его жизненного пути книгу. Не обязательно с его фамилией, не обязательно точно о нём, но как герой он бы сгодился для хорошего романа. Прожил сорок лет, а ведь и про него, может быть, тоже рассказать нечего. Зосимов вон какой человек — на Доске почёта, в орденах, а едва наскребли на очерк какой-то. Ещё надо почитать, сколько там той правды будет в газете. И люди рядом с ним годами. А трёх добрых слов сказать не смогли. Как в характеристике из отдела кадров. Так же будет и о нём. Платонов свою жизнь представлял раньше иначе, всю в достижениях, каждый день ему казался важным. А возьми для книги его биографию — и нет ничего в его жизни ценного. Даже на газетный очерк не хватит.

В городе они попрощались у гостиницы, и Платонов пошёл домой. Шёл один, никого не замечая, только мысли преследовали его, не оставляли в покое, и он перекручивал, словно на мясорубке, свою жизнь, которую мог бы рассказать журналисту. Но тот им даже не интересовался. Обидно.

Полужинав без аппетита, Платонов лёг спать. Сразу уснул. Но среди ночи проснулся. Жена не спала — читала какой-то женский роман. Платонов толкнул её в бок:

— Слушай, жена, а ежели спросит тебя какой-нибудь писатель о моей жизни, что ты ему расскажешь?

— А чё это он будет у меня спрашивать? — удивлённо посмотрела на него супруга.

— Ну, мало ли, захочет книгу обо мне написать.

— И с какого перепуга о тебе книгу будут писать?

— Это сейчас я никто. А вдруг прославлюсь?

— Господи, спи, ты сорок лет никто, звать тебя никак, и не думаю, что станешь кем-то важным.

— И это всё, что ты можешь обо мне сказать? — рассердился Платонов.

— Да спи, дурачок, — захлопнула супруга книгу и выключила свет.

А Платонов в темноте всё прокручивал слова жены: «дурачок» и «сорок лет ты никто». «Бл..ь, — подумал он, — и на хрена этот журналист попался сегодня, книжку подарил?» Только сейчас Платонов вспомнил про стихи. Он поднялся.

— Ты куда? — поинтересовалась жена.

— Куда даже король пешком ходит!

— А! — перевернулась жена на другой бок.

Платонов достал из сумки книгу стихов, закрылся в туалете, раскрыл первую страницу и начал читать. Слова были знакомые, но, сложенные вместе, становились такими, что ни одной строчки стихотворения Платонов не понимал. Прочитав всю книгу, Платонов начал её терпеливо перечитывать. Но от второго чтения книга понятней не становилась. Он в сердцах разорвал книгу и бросил в унитаз. Резким движением спустил воду. Ключья страниц тоненькой книжки не тонули, ворочались в водовороте, и Платонов вынужден был несколько раз ждать, когда наполнится сливной бачок, и спускать воду, чтобы смыть все эти стихи к чёртовой матери. Только когда последний бумажный клочок со стихами исчез навсегда, Платонов успокоился и пошёл спать. Спал он долго и крепко, но, проснувшись утром, с удивлением вспомнил, что всю ночь во сне что-то пытался написать, и чем больше он писал, тем гуще становилась неизъяснимая пустота, которая окружила его во сне, и теперь вот стояла крепко-накрепко вокруг него в реально текущей жизни. Никогда Платонов не чувствовал вокруг себя такой опустошающей пустоты, и ему впервые стало страшно жить дальше в одиночестве пустоты.



«...И не надышусь родным воздухом»

На семьдесят четвёртом году жизни скончался *Алексей Маркович Бондаренко*, член Союза писателей России. Прощание с ним проходило второго июля в Доме культуры села Озёрного, где жил писатель, где он по окончании института начинал председателем сельсовета и сделал многое для своей малой родины.

Проводить в последний путь почётного гражданина Енисейского района пришли сотни жителей Енисейска, Озёрного, приехали друзья писателя из Красноярска, Овсянки, Лесосибирска, Подтесова, Санкт-Петербурга.

Певец родной земли поднял тему исторического прошлого Енисейска в трилогии «Государева вотчина», воспел красоту своего края в многочисленных повестях и рассказах.

«Для меня нет ничего лучше и краше земли енисейской. Вместе с ней ликует и плачет моё сердце, вместе с ней радуюсь и горюю... И не надышусь её воздухом», — говорил Алексей Бондаренко.

Алексей Бабий

Без разницы

Короче, дело было так. Сидели они с Петрухой и выпивали помаленьку. И, понятное дело, спорили — то о политике, то о бабах, а то и о хоккее. Если быть совсем точным, то в другом порядке — сначала о хоккее, потом о политике, а о бабах, как всегда, на десерт. Кто понимает, тот понимает: форма ничто, коммуникация всё. Кто-то в «Фейсбуке» лайкает, кто-то в пивной лакает: какая разница?

Во мнениях они не сошлись — не то о политике, не то о бабах. Тут Вася и сказал Петрухе: «Да пошёл ты!» — и зачем-то щёлкнул пальцами. Сказал-то не со зла, это ж просто фигура речи. Но Петруха действительно исчез, как будто его выключили. Вася, однако, этого не заметил. После пятой так бывает: сидишь, разговариваешь с человеком, а он раз — и куда-то пропал. Ты ему всю душу раскрываешь, а его, оказывается, давно уже тут нет. Он, может, в сортир пошёл, а на обратной дороге заблудился; а может, у него автопилот самопроизвольно включился и внезапно повёл его домой. И наавтра, конечно, будешь выяснять, куда вчера он делся, а он вчера не помнит, помнит только сегодня примерно с десяти тридцати утра. А к тебе кто-нибудь другой подсядет, кто сидел где-то там, а потом пошёл в сортир и заблудился — и подсел к тебе, думая, что это не ты — но какая разница?

Наутро пришла Петрухина жена и стала допытываться, не тут ли Петруха валяется, по обыкновению. Но на этот раз Петруха здесь не валялся. И вообще валялся неизвестно где. Участковый мурыжил Васю часа два, но он только и говорил, что да, сидели, да, выпивали, а потом Петруха куда-то пропал, куда — неизвестно. Да и какая разница?

Участковый так достал Васю своими вопросами, что Вася в какой-то момент сказал ему: «Да пошёл ты!» — и зачем-то щёлкнул пальцами. И участковый исчез, как будто его и не было. Но Вася и тогда ещё ничего не понял. Ну, исчез да и исчез. Конечно, Васю потом таскали в полицию, допрашивали и брали отпечатки пальцев, но он ничего толком объяснить не мог. Приходил участковый? Приходил. А потом куда делся? А я откуда знаю? Ушёл, наверное. А ты трезвый был? Трезвый. А Вася в тот момент и правда трезвый был. Да и какая разница?

Потом в автобусе до него какая-то тётка докопалась. Вот и стоит он в проходе не так, и пахнет от него, и всякое такое. Он ей и сказал, не оборачиваясь: «Да пошла ты!» — и пальцами зачем-то щёлкнул — вот так. Она тут же перестала докапываться и даже перестала в него упираться острым углом своей сумки. Никто ничего не заметил.

А вы в автобусе часто ли замечаете тех, кто рядом стоит? Ну, если это симпатичная девушка, то да, а так — нет: какая разница?

Но Вася обернулся и увидел, что за ним вообще-то никого. Точнее, есть какой-то мужик чуть поодаль. А тётки нет никакой. То есть она ему померещилась. Что было само по себе плохо. Когда тебе что-то мерещится, это значит, ты не в себе. А если ты не в себе, то, значит, ты из себя вышел. А если ты из себя вышел, то можешь куда-нибудь не туда попасть. И Вася начал с тех пор за собой присматривать. Ну, то есть он не просто идёт, например, по улице, а идёт по улице и понимает, что он в этот момент идёт по улице. Раньше-то он просто шёл по улице, даже этого не осознавая, а теперь вон как. Я, может быть, коряво объяснил, но на это есть всякие научные теории, они объяснят лучше. Да и какая разница?

И как-то Вася шёл вечером по двору, осознавая, что он идёт по двору, осознавая, что идёт домой, ну и вообще осознавая. И какой-то безумный наркоман кинулся к нему с ножом, требуя денег. «Да пошёл ты!» — сказал ему Вася и щёлкнул пальцами — вот так. И наркоман исчез, как будто его не было, вместе со своим ножом. А тётка, которая шла навстречу, заорала не своим голосом, потому что всё видела. «Ты что с ним сделал?!» — орала она. А Вася, уже начиная что-то понимать, сказал ей: «Да пошла ты!» — и щёлкнул пальцами — вот так. И вот тут понял окончательно.

Окончательно, да не всё. Например, куда девались посланные им люди? Ну не туда же, куда он их послал. Если бы Вася слышал о других измерениях, параллельных вселенных и прочей мути, он, может быть, и понял бы. Но ему и дела не было. Ну, делся человек куда-то — и ладно. Да и какая разница куда? Главное, что делся.

А тем временем в этом самом другом измерении, в параллельной то есть вселенной, люди были всерьёз обеспокоены. Им буквально на голову стали падать: то какой-то пьяный мужик, то участковый с пистолетом, то наркоман с ножом, то тётка с визгом, а потом и целый премьер-министр. И чем дальше, тем больше. Да и какая разница кто? Главное, что падали.

Увы, в том другом измерении, в той параллельной вселенной люди тоже не подозревали о параллельных вселенных и других измерениях, поэтому объяснить этот феномен никак не могли. Да и прибывшие ничего толком объяснить не могли. Они ведь тоже ничего не знали про другие измерения и параллельные вселенные. Поэтому они ничего не объясняли, а, наоборот, требовали объяснений от аборигенов. И не только объяснений, а еды, жилища и всякого такого. А там, в общем-то, и без пришельцев проблем хватало, как это бывает в любом измерении и любой вселенной, хоть параллельной, хоть перпендикулярной — какая, на фиг, разница?

Люди в то измерение падали и падали, потому что в этом измерении Вася экспериментировал (а какой русский не любит эксперименты?).

Он убедился, что если просто послать кого-то, эта штука не работает. И если просто щёлкнуть пальцами, тоже не работает. Работает только, если это делается одновременно, разрыв не более трёх секунд: сперва посыл, потом щелчок, и никак не наоборот. И обязательно щёлкать правой рукой — левой не работает. Посылать нужно на три буквы, на пять — не работает. Зато не обязательно посылать вслух, можно мысленно. Главное — успеть щёлкнуть пальцами, потому что мысли бегут быстрее, чем слова. И не обязательно посылаемый должен быть рядом — тёщу Вася отправил аж из Ухты, а премьер-министра и вовсе по телевизору. То есть разницы нет.

«Это чё же,— думал Вася,— я теперь не Вася, а какое-то оружие массового поражения? Я ж, если что, всей Америке скажу: „А пошла ты!“ — и Америка пойдёт». Вася даже хотел попробовать — на каком-нибудь Люксембурге, но не решился пока.

С премьер-министром, кстати, у Васи получилось не очень. Тот в который раз рассказывал, как мы все скоро будем хорошо жить, даже более лучше, чем сейчас, хотя и сейчас лучше некуда. Тут Вася его, конечно, и послал. Послать-то он его послал, а тот всё равно продолжал рассказывать про светлое будущее, потому что показывали его в записи. Но и потом сколько-то дней телевизор сообщал, что премьер-министр, дескать, провёл заседание кабинета, что он побывал в таком-то агрохолдинге и сказал там то-то и то-то. А то и вовсе показывали какие-то старые сюжеты, выдавая их за новые. Да и какая разница? Кто там будет разбираться? Пипл и не такое хавал.

Слухи, однако, поползли, блогеры начали сопоставлять факты и проводить расследования. Но кто их, блогеров, читает? А по телевизору и вовсе не показывают. Поэтому Вася сначала решил, что с премьер-министром у него не получилось, и поэкспериментировал на губернаторах. С губернаторами получилось как нельзя лучше, хоть со своим, хоть с чужими, без разницы.

Пропажа пары сотен рядовых граждан так и осталась почти незамеченной (да они постоянно куда-то деваются — кто их считал?), а вот премьер-министр — это вам не хухры-мухры. Ну, то есть, конечно, в каком-то смысле тоже хухры-мухры, у нас незаменимых нет, за редким исключением, — но всё-таки это же не тётка из автобуса или там губернатор. Какая ни есть, а всё же разница, так что компетентные органы уже вплотную приблизились к Васе. Как они его вычислили, не скажу, хотя знаю. А вам лучше и не знать — крепче спать будете, а заодно живы останетесь.

Вася хвост почуял, нашёл в кладовке старую куртку, которую давно не носил, выгреб из квартиры всю наличность, а паспорт, наоборот, оставил дома — да и был таков. Хорошо, если его заберут в институт на опыты, а могут ведь и просто пришить. Хотя и то, и то — хорошего мало, без разницы.

Сначала он думал уехать из города, где на каждом углу видеокамеры, — и уехал было. Но прятаться лучше в городе, а не там, где все друг друга знают. Поэтому залёг в соседнем городке. И вовремя, потому что его объявили в федеральный розыск. Но его сейчас бы и жена родная не узнала: он оброс, давно не мылся, да и куртка на нём была другая, подобрал на свалке. Больше всего Вася боялся потерять большой палец на правой руке, а ещё — что его возьмут сонного. Потому спал урывками, в драки не вступал и старался никого никуда не посылать, но иногда приходилось. Так что команда уже шла по следу. Где народ пропадает, там и Вася. Хотя — где он не пропадает? На то он и народ, чтоб пропадать, без разницы где.

Да и не одна команда. Разведки всего мира искали Васю, сталкиваясь друг с другом на небольшом пяточке. То там, то тут в городке вспыхивали перестрелки. А бывало, кто-то почти настигал Васю — но бесследно исчезал.

Измученный Василий уже почти не спал и постоянно менял укрытия. Как-то ночью, в полудрёме, он услышал осторожные шаги и заорал в отчаянии: «Да пошли вы все!» И щёлкнул пальцами. Шаги прекратились.

На улице никого не было. Автобусы не ходили. Светофоры мигали как положено, но ни одной машины на дороге не было. Ресторан был открыт, еда на столах ещё тёплая, а водка, наоборот, ещё холодная. И никого. Прямо Чернобыль какой-то. Вася поел и выпил, медленно соображая: *все* — это кто? Получается, вообще все, включая ту же Америку? Может, телевизор что скажет? Телевизор ничего не говорил, а только крутил попсу на автомате.

В огромном зеркальном окне он увидел какого-то бомжа — и рванулся навстречу с радостным криком. И тот тоже рванулся навстречу, но явно не с добрыми намерениями. Вася сказал ему: «Да пошёл ты!» И щёлкнул пальцами.

А был тот бомж Васей или не Васей — какая теперь разница?

Виктор Самуйлов

Сапожки

С превеликим трудом, часам только к двум дня, поднялся Олег с постели. И в комнате прохладно, а на улице... Сквозь оконное стекло видно было, как наискось сёк промозглую взвесь дождь. Всё так болело и ныло! Требовалось хоть грамм сто, чёрт с ним, с телом, хоть душеньку успокоить! Решился пока встать, потом можно и помыслить о вождеденном. Подрагивая губами, пошептал что-то, сидя на кровати, потом, обречённо махнув рукой, стал натягивать на себя трико, штаны, майку, рубашку, свитер. И стоило это ему ох каких трудов: взмок липко и противно по всей спине, в подмышках, лоб покрылся тяжёлой испариной.

Задышал часто, с клёкотом в сорванном, напряжённом, обожжённом водкой горле. Кажется, и селезёнка запрыгала, заёкала, как у заезженного, загнанного жеребца. Пережевал в горле, во рту, сплюнул липкую слюну на пол, брезгливо растёр носком: держись, сволочь, держись!.. — поднялся, в глазах потемнело, бросило в одну, другую сторону, схватился за печку: едрит твою... едрит... — постоял, колыхнул телом, потихоньку побрёл на кухню, задержался у помойного ведра, подавил ладонью мочевого пузырь: потерплю... Вытер сухим полотенцем лицо, глаза, стёр запёкшееся в уголках губ. Нагнув голову, посмотрел в зеркало, причесал волосы вначале пятернёй, потом, морщась, разодрал свалывшийся колтун расчёской; присев у печки на скамеечку, начал обуваться. Чего ж делать?.. где выпивки достать? Мысли бегали по комнатам, шныряли под кровать, на полки, на шифоньер — нет ничего. Всё пропито — если не им, так друзья помогли. Подошёл к окну: по стеклу ползли прозрачные капли, оставляя кривые полосы... дождь, дело к осени. Нет, осень уже, середина сентября, а у него ни работы, ни жизни. Вышел в коридор, в углу стоял большой сундук, остался от старых хозяев. Откинул крышку, до половины — каких-то тряпок. Олег открыл входную дверь, чтоб было посветлее, стал на колени, по одной начал вытаскивать тряпки, перетряхивая их и прицениваясь. Халат — вроде ничего; кофта — на локтях дырки — пойдёт; так... полушалок — хорошая штука. А это? Он поднял на свет... детские сапожки. Помял их, заглянул внутрь, понюхал, неловко съехал на пол. Детские резиновые сапожки! Бордовое байковое тёплое нутро пахло чем-то неуловимо знакомым. Олег ещё раз поднёс их к лицу: тёмный глянец голенищем отражал тусклый ответ из приоткрытой входной двери, а пахло... детством, радостью

безмерной, гордостью за обнову. Сарин разозлился, швырнул сапожки в сундук, с силой хлопнул крышкой. Свернул отобранное, сунул за пазуху, вышел на улицу.

Дождик оказался не так зол — мелко моросил, лишь ветер гнул кусты акации. Чертыхаясь и оскальзываясь, побрёл на соседнюю улицу к цыганам. Долго стучал в покосившийся наличник, потом забарабанил в стекло. Наконец замаячило белое пятно лица. Махнул рукой: откройте. Протискиваясь мимо Романа, старого цыгана, прошамкал:

— Умираю, опохмелиться найди.

Роман, почёсывая седую бороду, проворчал:

— Брага только, да и то не дошла. К вечеру заходи, ребят в магазин пошло.

— Мне сейчас надо.

— Сходи к Ларионовым, на Заводскую, девятнадцать.

Олег, втянув голову, брёл вдоль домов. С кустов сирени и боярышника, с деревьев вишни ветер сыпал на него крупными каплями воды. Ознобливо, липко в испоганенной жизнью душе. Олег брёл, брёл, кажется, уже вечность. Дождь вроде угомонился, или Сарин притерпелся, да и сил осталась такая кроха, что ворчать и ругаться он не мог. Глазами водил по домам, отыскивая девятнадцатый номер. Вот и он, калитка настезь, дверь в дом тоже. Приостановился, по голосам понял — милиция тут. Прошёл дальше. Куда идти, не представлял, брёл так, наобум святых. Из-за угла появилась фигура. Прищурил глаза, смахнул с ресниц влагу.

— Бабусь, бабусь, погоди, может, посоветуешь, поможешь... — Олег совал старенькой, в калошах и целлофане на голове, остроносы бабке свёрток. — Вот такое дело...

Старушка, смаргивая безбровыми совиными глазами, всматривалась в Олега.

— Что ж ты, сынок, так? Чай, молодой совсем. Неужто побороть не можешь?

Сарин, затаив дыхание, дёрнул головой:

— Я расскажу, вот только... — он опять протянул бабуле свёрток.

— Ой! Горе-то! Пойдём, что ли? — старушка засеменила вперёд.

Олег — судорожно, возбуждённо, спотыкаясь, боясь оскользнуться, — следом. Домик у бабки был о двух хозяев. С её стороны в заборе белели новые доски, калитка плотно и крепко входила в косяки столбов, хорошая щеколда, крылечко чуть покосившееся, почернелое, но всё же и оно, видно было, подправлено.

— Помогает внучок. Налью стопочку — ничё, ворчит: мол, мало, — а делает, — кивнула на другую сторону дома со свихнувшимся на дорогу забором без калитки: — Дочка там живёт, совсем беда...

Бабка своим быстрым говорком успокаивала Олега.

— Повезло, — шептал он, — повезло...

— Ты чего там бормочешь, милоч? Совсем ты плох, смотрю, — старушка отомкнула замок, пропустила Олега вперёд. — Проходи, смотри не запнишь. Тут у меня уже и картошка рассыпана. А как же... ковыряюсь.

Сарин, нашарив ручку, открыл дверь, вошёл в дом, на него пахло теплом и запертым варевом. Не иначе, бабка и поросёнка держит. Мелькнуло в голове удивление: живут же люди, вот такие старые, а живут.

— Давай-ка, милоч, разболокайся. Простудишься ты, не иначе, — посмотрела на него вопросительно. — А лечить-то тебя некому... ай? — Пока некому, — Олег с трудом стянул пиджак, свитер, снял ботинки, сел к столу.

Развешивая на шестке одежду Сарина, бабуся проговорила:

— Меня баба Маня кличут. Все бабу Маню знают. А чего ж я тебя не видела? Ты, по всему, где-то тут обитаешься. Или недавно прибыл? — С полгода как живу.

— Ну понятно, ещё, как говорит мой внучок, не засветился. Ну, покажь, чего у тебя там?

Тётя Маня, в обрезанных валенках и безрукавке, уже успела и в ту комнату сбегать, чем-то там позвенеть, и за печку слазить. Села напротив Олега, глаза её, вроде уже поблёкшие, смотрели остро на Сарина, немигающе.

— Ну покажь, покажь.

Повертела халат, осмотрела пуговицы, подёргала за обтрёпанные рукава кофту. Подольше крутила полшалок. Глаза её затуманились... — Тут ты мне, сынок, ой и упаковал, ой и упаковал. Это-то я Таньке, дочке, снесу — кофту и халат. Ей ничего нового нельзя — пропёт, — хитро глянула на Олега. — А може, вас вместе свесть? Во заживёте!

Олег кряхтел. С испугом думал, сколько у старушки просить.

— Не мучайся, сынок, — баба Маня прошуршала в коридор, и на столе появились солёные огурцы, варёная картошка и сало.

Вытирая фартуком бутылку — как-то нехотя вынесла она её из большой комнаты — проговорила:

— И грех-то ведь... Куда денешься? Ел-то хоть?

— Я не хочу...

Старушка сердито поджала губы:

— Не хочет он, вишь ли... Ешь, пока дают. Ты, чать, и дорогу боле ко мне не найдёшь?

Олег наливал себе в стакан самогонку, весь съёжившись, стараясь не дышать, лишь кивнул головой.

— Ну, выпей, на вот, запей морсом, из красной смородины делаю.

Сарин выпил, долго гонял самогонку, забывая её в желудок судорожными горловыми движениями. Схватил огурец... уф, вроде затолкал.

Старушка горестно смотрела на него.

— Ну, расскажи чегой-то о себе. Ты, как я поняла, в железнодорожном дому живёшь, где сёстры Онучевы жили, учительницы?

— Наверное...

— Полушалок-то мой, милоч. Уж и не помню, сколь лет прошло, как мой Петяша таким же образом пропил его, — безбровые глаза жалобно заморгали, затянуло их мутью. — Ить он, паразит, с первой получки мне его купил. Ох, когдai-то было — и не вспомнить. Только вагонное депо открыли, он сцепщиком устроился. Как принёс деньжищ... батюшки святы, я и он — мы столько и не видали, и в руках не держали. Ну-к, налей-ка и мне... Давай за моего старого. Шebutной был... упал пьяный под колесо: с горки вагон катился... не услышал, — баба Маня выпила грамм пятьдесят, вся сморщилась, передёрнулась. — Ух, зверюга! Так ты что ж молчишь? Я ль тебя не спрашиваю?

Олег повеселел. Улыбнулся:

— Ты, баба Маня, мне и рта раскрыть не даёшь.

— Ай, милоч, и правда. Соскучилась по живому. Ты думаешь: вот старая говорунья, хлопотунья, самогонкой торгует, меняет на что-либо, народ спаивает, — старушка опять пригорюнилась. — Это ить ты мне чем-то приглянулся. А может, и полушалок в сердечко торкнулся. Самогонку я гоню. Отдаю Соловьихе на Вокзальную, рядом с тобой, ты и не знал, наверное. Танька моя ей всё несёт: и деньги, и одёжку какую. Мы с Соловьихой в договоре: я ей самогонку, она мне — Танькино. Так она ж, паразитка, не завсегда к ней бегаёт, а тогда пиши пропало, следов не сыскать. Счас отнесла ей три литра, с трёх — Соловьихе за беспокойство — бутылка, — тётя Маня строго посмотрела на Олега. — Вот так-то, сынок. А ты о себе, о себе расскажи.

Сарин задумчиво посмотрел на бутылку. Вроде полегчало, но внутри всё ещё прыгало, язык цеплялся за зубы, в бутылке заметно убыло.

— Ну, выпей маленько, весь трясёшься. Не преступник какой?

Олег даже поперхнулся:

— Да что ты, баба Маня? Лётчик бывший. Ваше училище заканчивал. И работа была, и жена. Запиваю сильно, не часто, но запиваю.

— Ну и расскажи, поговори, всё легче будет, — старушка накинула на плечи полушалок. Лицо её разгладилось, быстрые руки устало легли на стол. — Не смотри ты на эту бутылку! Я тебе и с собой дам. Родные есть? Где они? Чего ж ты тут один? Семью сторожишь? Нет, милоч. Вот внучок мой запивоха — не дай боже, и молодой совсем. Хоть в дом не пускай: чегой-то да сопрёт. Отсидел уже, вот и подумай, живёт, паразит! То там поработает, то тут, а больше шляется с дружками по вокзалу. Посадят, или свои прирежут.

Баба Маня быстро поднялась, сбегала в комнату, поставила на стол бутылку самогонки.

— На! Не смотри! Ох и горе. Ты ж должен себя в руки хоть как взять. Подмоги у тебя нету, один, почитай, в окружении. Если чего найдёшь принести, то лучше Соловьихе, я ей подскажу, чтоб не обижала тебя. Может, и Таньку подошло, вы с ней, по всему, ровесники. Она тож запивается не часто, а так девка добра и телом, и умом. Работает

сейчас в депо, в локомотивном. У неё и образование есть. Ухажёр у неё курсант был. Сбежал, паразит, вышел к ней за проходную с чемоданчиком, поставил: мол, я сейчас. И нет, и нет, а Танька уже брюхата,— немигающе уставилась на Олега.— И ты, наверное, такой же прощельга?

— На третьем курсе женился.

— Ну, молодец, я сразу почувствовала... Открыли чемодан, а там портянки старые, газеты да кирпич. Внучком Костей брюхата была. Вышла замуж за местного: не хулиган и попивал в меру,— оказывается, наркоман, счас сидит, если живой... разошлись и не вспомнить когда. И стрельба тут, и всё было,— баба Маня осовело мигала покрасневшими глазами.— Что-то меня разморило. Иди, сынок, пообсох маленько, согрелся, печку дома затопи. Картоха есть у тебя?

Олег отвёл глаза:

— Есть маленько.

Старушка рассеяно кивнула:

— Картохи свари, хоть в мундире.

Дождик, совсем было поутихший, опять начал сеять плотной влагой и изморозью. Зажав бутылку под мышкой, Олег споро вышагивал по задворкам, спеша к себе: «Сейчас печку затоплю... корочка хлеба вроде где-то лежит. А вечером Соловьихе сапожки отнесу...»

Норильск, октябрь 2000

Евгения Зуева

Домовой

Мемуары в миноре

Слышишь вой, девочка? Это Волку не спится...
 Баю-бай — не доверяй небылицам!
 Берегут тебя брат Месяц, да седая Сова,
 Да густая трава, источающая сладкий дурман-сок...
 Баю-бай — утихай, голосок, закрывай свои очи —
 Утром смоешь остатки ночи ведром водицы ключевой,
 А пока песнь споёт домовой!
 Слушай, девочка, слова — и помни, что они значат:
 Успей заснуть —
 А иначе...

Сибирская деревня — это извилистые тропы, заросшие косматой травой, ведущие в глубь непролазных лесов. Это суровые снежные зимы, тёплое с прохладой лето, подзвученное комариным писком и увлажнённое дождями Ильи-пророка. Это слякотно-чавкающая осень с разбитыми дорогами, где любой транспорт — бесполезная вещь. Это глухаринные песни, быстротечные холодные реки и спелая клюква, минными растяжками разместившаяся в затерянных болотах. Сибирская деревня — это суровые мужики в ватниках и резиновых сапогах. Это сбор грибов и ягод — как способ времяпрепровождения и заработка, крепкий самогон — ещё один способ времяпрепровождения и заработка, убивающий остатки разума и генофонда. Это перекошенные деревянные дома с облезлыми ставнями и прохудившимися крышами. Это топоры, ружья, пилы, охотники, вечно лающие собаки, душистая крепкая махорка, невыносимый рёв стареньких мотоциклов, запах деревенского молока, только что скошенной травы, легенды и поверья непроходимой тайги и вечно держащие на своих плечах мир женщины. Горожане иногда высовывают нос из мегаполисной системы и спешат сюда за крохами романтики, но через несколько дней сбегают обратно от слишком поглощающей тело и разум натуральности.

Вот в таком Богом забытом сибирском месте у меня был дом. Название деревни с языка народностей, населявших в ту пору землю, переводилось как «благословенная река». Там и правда бежала быстрая речушка — резвая, вертлявая, как непоседливый сорванец, холодная, глубокая и очень узкая. Да только была ли она

благословенной? Боюсь, что она даже не была благосклонной к местному населению. Каждый год в ней тонуло три-четыре человека, зачастую это были самоуверенные дети, решившие, что смогут её переплыть, в итоге — оборванная жизнь, горе и слёзы родителей, строгий наказ всем тем, кто только собирался пробовать свои силы в схватке с рекой, — а она, благословенная, бежит себе, как и сотни лет назад.

Это был обычный дом сельских обывателей на окраине деревни. Светлая изба с голубыми ставнями, большими чистыми окнами, с палисадником, в котором хозяйничал высокий сибирский кедр, посаженный ещё в шестидесятые годы, а гвоздики и бойкие шафраны напоминали его свиту, развлекавшую хозяина в часы глубокой летней задумчивости. В доме скрипели половицы, пенился кислый квас, пахло свежеепечёнными шаньгами, всегда была чистая родниковая вода, а белые простыни пахли солнцем. Моя бабушка сушила бельё на открытом палящем солнце, и его неповторимый запах въедался навечно. Ночью простыни хрустели, грели и охладили одновременно. Такого явления я больше никогда и нигде не встречала.

В этом обычном доме у меня было два любимых места — чердак и сени, именуемые в семье моей бабушки верандой. На чердак я карабкалась по старой скрипучей лестнице. Там было темно и таинственно, валялась всякая всячина, висели охапки сушёных трав, и было три осиных гнезда — осы оккупировали территорию чердака и никому не хотели её уступать. Там я училась смирению, терпению и выдержке. Банально, но я лазила туда читать. Сквозь отверстия деревянных стен беспрепятственно сочился дневной свет. Обычно я садилась так, чтобы луч света освещал только читаемую страницу, и вот так часами я сидела недвижимо, как каменное изваяние, лишь тихонько шурша страницами. Со мной свыклись даже осы. Они как бы позволяли мне остаться. Я почти не дышала, когда эти жужжалки летали вокруг или ползали по строкам очередного «Робинзона Крузо». Насекомые с удовольствием путались в моей косе и ни разу не укусили, что удивляло бабулю, которая была не так смела, как внучка-сорванец. Охапки сушёных трав напоминали казнённых воинов на виселицах. Они издавали еле слышный траурный треск, провожая самих себя в последний путь. Ах, эти зимние травяные чаи — как причудливо они пахнут летом: приключениями и пыльным чердаком.

Не люблю всеобъемлющую тишину — от неё жутко болит голова, и есть во всём этом что-то аномально-космическое. Меня поймут те, кто хоть раз ночевал в деревенском доме: вокруг — чернильная ночь, справа — пожирающий деревню беспощадный лес, и ни одного звука — мир вокруг парализован. Я — городская девочка, привыкшая к шуму машин, свету фонарей, к мельканию круглосуточно не спящих окон и прочим «вышибалам» городской тишины, — не могла перенести звенящую тихость деревенской ночи. По этой причине

ночью тайком я сбегала спать в сени. Очень неоднозначное место, созданное лишь для меня и старинной рухляди. Именно там случилось всё самое интересное — то, во что я до сих пор не верю. В сенях было невообразимо холодно, что меня устраивало, ибо жар сельских печей мешал мне спать. Там стояла старая кровать с двумя пуховыми одеялами, где я грела детское тело и зарывала свои причудливые страхи. На стене висел старинный шёлковый ковёр — напоминание о молодости моих предков, стояли мешки с мукой, крупой, сахаром, пустые банки, швейная машинка, прялка и старый тяжёлый стол, устеленный клеёнкой, — незатейливый антураж надолго остался в моей памяти. Была там ещё старинная этажерка, липкая от краски тёмно-карамельного цвета. Чего в ней только не было: банки с гвоздями, пряжа, старые книги с жёлтыми, пропахшими табаком страницами, стопка нотных тетрадей и коробка из-под пряника, в которой хранились старые фотографии.

Ох уж эти чёрно-белые снимки... И пугают, и завораживают одновременно. Я могла часами разглядывать этих незнакомых людей и бояться необъяснимого. Я пыталась понять теорию застывшего момента, но мне это не удавалось, и глаза видели лишь тёмный гипюр фотосомнений. Гипюр — это что-то совсем ретровое. Почему я вспомнила это слово? Многие фото от времени стали янтарно-белёсыми, и люди на снимках напоминали насекомых, застрявших в куске окаменелой смолы, — это и жутко, и притягательно, как будто объект хочет выбраться, но уже никогда не сможет. Однажды на глаза попались фото чьих-то похорон. Я искренне не понимала, зачем фотографировать последний путь человека. Искорёженное лицо покойника, скорбь плачущих людей, крупные планы ненужных элементов... Зрение на это реагирует протестом, и ощущение, что ты не видишь людей, а смотришь на разлитые чернила, — в памяти всплывают грязный ноябрь, Вертинский и больничная палата. Вспомнила фото, на котором я с длинноволосым юношей стою под зонтом, окна чёрно-белых зданий пялятся в пустоту, а мелкий дождь кажется царапинами на снимке. Позже его ревнивая девушка отрезала меня от юноши, и много лет спустя он вернул «меня мне», когда мы были уже давно «отрезаны» друг от друга огромными расстояниями, запутанными отношениями, не нашими детьми и чужими семьями. Задумалась, как всё же сработала эта фотоампутация: с юношей мы расстались навсегда. Коробка с фотографиями была страшной шкатулкой, к которой тянулось моё любопытство в надежде узнать секреты туманного прошлого.

Проснись, проснись, лисичка и белочка,—

Поёт старичок хромой.

Проснись, проснись, моя девочка,—

Скорее беги домой!

Август — страшное слово, пугающее тревожностью ощущений, как будто скоро война, или долгая разлука, или тяжёлая смерть, или чувство, что за спиной стоит маньяк с топором... Даже не знаю, почему этот яркий летний месяц, щедрый на Спасы и урожай, с запахом сена и предосенней прохладой, вызывает непонятную боязнь. Возможно, всё дело в непроглядных туманах-завоевателях и слабеющем пред их натиском утре. Возможно... Я никогда не хотела видеть то, что скрывают туманы, как бы ни бунтовало человеческое любопытство, — некоторые секреты лучше не трогать, как древние мумии, дабы не будить спящий страх.

Однажды августовской ночью я, десятилетняя, жутко мёрзла в сених и не могла уснуть. Шторы царапали стёкла шатких окон, издавая причудливый шорох. Ветер гулял по крыше, создавая акапельные этюды. Все эти трески, шорохи и всплески куда лучше, чем гробовая тишина тёплой избы. Когда я почти успокоилась, почти согрелась и почти заснула, вдруг отчётливо услышала глухой, низкий, как из бочки, голос. Он вторил: «Проснись! Проснись! Проснись!»

Я огляделась и от страха ещё глубже спряталась под одеяло. А голос всё громче и громче, как старый колокол, повторял: «Иди домой! Иди домой! Иди домой!»

Испуганного ребёнка долго уговаривать не нужно — я схватила одеяло и вбежала в избу. Семья мирно спала, тепло печи разливалась облаком привычной неги. Я тихонько пробралась под бок бабули, как бы отгородившись ею, как щитом, от того, что со мной происходит. — Замёрзла? — спросила сонная бабушка.

— Да... — соврала испуганная я.

Лишь утром я узнала, что возвращавшаяся из сельского клуба разгорячённая молодёжь бросила булыжник в окно нашего дома, и он приземлился в сених аккуратно на моей подушке. Страшно подумать, чем могло всё закончиться, останься я там... Наивное дитя рассказало бабушке про голос, про страх и прочее, на что мудрая женщина вымолвила:

— Милая, тебе это приснилось.

— Ну нет же, — спорила я и приводила свои неуклюжие детские аргументы.

Что могла сказать в этом случае бабушка внучке?

— Это домовый, он тебя бережёт!

Странно, но этот ответ почему-то меня устроил — то ли оттого, что дети любят таинственных сказочных персонажей, а может, потому, что это правда.

Долгое время мне запрещали спать в сених, мотивируя тем, что это небезопасно. Но я всё равно тайком туда сбегала, часто оставляла своему спасителю пирожки и печенье, но ничего не происходило. Я даже стала думать, что, может, это и правда мне причудилось... А что будет, если не слушать голос, не замечать, делать всё наоборот?

Шафраны в палисаднике напоминали новорождённых детёнышей солнца, которые с удовольствием распространяли эту солнечную религию в локальном пространстве флоры. Они вертели яркими головками, как весёлые клоуны цирка, вызывая невольную улыбку случайных прохожих. В деревне как-то не принято срезать цветы, обрывая их жизнь, и украшать избы этой эстетикой умирания и увядания. Это присуще городским жителям, упаковывающим цветы в бумагу и громоздкие вазы. В деревне всё начинается и заканчивается естественно... Я любила шафраны — плела из их крупных голов венки и пускала в путь по холодной реке, надеясь на исполнение своих скромных подростковых желаний.

Не проси защиты у снов,
Не ищи для себя оправданий,
Не рви разноцветных цветов
Ради своих желаний...

Домовой не ел моих пирогов и до поры до времени никак не обозначал своё присутствие. Меня начала мучить бессонница, что для ребенка — редкость. Я коротала ночи то в недолгих дрёмах, то в мечтах о пальмах и танцах туземцев, о которых читала в книжках... Пока снова не услышала предостережение домового, который уже перестал меня пугать. Я смирилась с тем, что надо слушать маму с папой, дедушку с бабушкой и домового.

«Не рви цветов», — бубнил мне мой хранитель в одну из ночей, а я решила поступить иначе.

Утром, глядя из избы в открытое окно, я любовалась шафранами. Завтра родители должны забрать меня в город — через два дня в школу. Появилось непреодолимое желание сорвать букет цветов себе на первое сентября. Я потянулась из окна за цветами и... не удержавшись, вывалилась из окошка дома в палисадник. Вот и не верь после этого наказам. Итог — вывих руки, наказание от мамы и продлённые каникулы, но уже в бинтах. Эх, домовой, с детьми в своих наветах нужно быть более настойчивым, как мама.

Отросли у деревьев ветки.
Сказки уже не греют.
В прошлом остались предки.
Девочка всё взрослеет...

То, что жизнь страшна, непонятна и местами коварна, начинаешь осознавать к тридцати трём годам. Те, кто умудрился понять это раньше, кончают плохо, даже если и сподобятся дожить до восьмидесяти лет... А в тридцать три все циферблаты — с осками наёмных убийц: «год — за три, и мысли в пятнах» (цитировать саму себя считается верхом самоуверенности, я бы сказала, даже нарциссизмом или как там это именуется у дам); а память тасует мечты и факты и отражается

в зеркале твоей же собственной обречённой... Вот в таком состоянии самое оно напиваться в одиночку в пустом деревенском доме. Не декадентство, конечно, и не сибаритство — но всё же... Слякотный октябрь, снег ещё не пробрасывает, но вот-вот должен появиться, как надоевший родственник с рассказами из своей жизни. Тихо пью второй день... Совсем тихо — без воя, плача и случайно слетевшего с губ мата. Первую бутылку открывала с мыслями о высшем благе, о предназначении. Постепенно в крепком самогоне тонули все мои добродетели, остатки разума, гордости, ревности и человеческого облика. Сидя на полу в льняном старом платье моей прабабки (а как вы думали — мода, етить её), прижавшись спиной к тёплой печи, разглядываю облезлые половицы.

— Эх ты, домовой, с детства блюдёшь мою безопасность. Где ж ты был вчера, когда я ровно не могла пройти вдоль половиц, споря сама с собой, что сумею? Синяк на плече — как напоминание, что я всё делаю «правильно». Да о чём ты? Конечно, стыдно! Я пыталась даже спрятаться от Господа Вездесущего — как будто за угол, как будто получилось, как будто... Свернула медный крест на спину, скрыв Господа под льняными покровами: авось закроет глаза сам и всё Его святое семейство и не увидит моего падения.

Ползу на улицу в поисках нового состояния, просветления и просто вдохнуть октябрьский туман — негоже пить совсем уж без закуски. Мёрзнут пальцы... Ангел-хранитель, казалось, совсем забыл про «заблудшую подопечную» — синяк покрылся тёмной коркой, и плечо нынче вакантно... Вот бы встать с пламенной речью: «Дамы и господа, леди и джентльмены!» Начинаю выть в голос. Какие дамы, какие леди? Леди не глушат осень водкой, или водку осенью, или свою жизнь этими двумя сволочами... Пить больше не хочется — только выть, спать и материться. Шаг, и ещё, и снова по прямой... Войти в тёплую избу с запахом похмелья нет сил. Валюсь с ног на пол в своих излюбленных сенах...

Тише, тише, светлячки и мыши.
Громко кричит стая ворон
Да со всех четырёх сторон!
Справа летит много разных вестей.
Слева ворона сулит гостей.
Позади плещет огненная вода.
Берегись — впереди беда...
Всё по воде вилами.
Боль, синяка коснись...
Девочка, милая,
Проснись!

Похмельный сон был глубок, как неразбериха моей жизни, и светел, как, надеюсь, её дальнейшее воплощение. Во сне я ругалась с уборщицей в нашей редакции. Из отпуска я привезла банку с Океаном,

поставила её на свой стол как напоминание о том, что я видела эту невыразимую водную стихию. А сердобольная Мариванна сочла эту воду ненужной безделицей и вылила в клозет. Обидно — теперь мой Океан грустно плещется в канализационных дебрях. Постепенно сон становился тревожным. Я слышала многоголосья различных споров, ругани и блеянья овец. Отчётливо я стала разбирать знакомый спокойный и равнодушный голос домового — он вторил: «Вставай! Вставай! Вставай!»

Стало совсем нечем дышать. Я проснулась от удушья — мне на лицо сыпалась мука из свалившегося мешка. Из избы в сени сочился лёгкий дым. Собрав остаток пропитых сил, я вошла в избу. На кухне горела клеёнка кухонного стола. Этот небольшой пожар мог стать трагедией — мог, но не стал. Я вылила три ковша воды на огонь, два — на своё лицо и... сделала два вывода:

— пьянство не порок — но не впрок;

— продам я к чертям этот дом...

Все остальные мысли растворились в октябрьском сопливо-кисельном воздухе. И кто сказал, что осень — это красиво? Она фригидна, бездушна и во всём виновата...

Земля — владение моего многострадального государства и мне не принадлежала, продать я могла лишь саму постройку. Старая изба пришла по душе пятидесятилетнему мужчине. Потрёпанный жизнью «афганец» говорил, что устал от городской суеты, что покупает не столько дом, сколько добровольное одиночество. Я, как и полагается в рекламно-продавательных целях, красочно рассказывала о том, что это одно из лучших мест для отшельничества. Повествовала о том, что я в этом доме больше приобрела, нежели потеряла, о своих неудачных экспериментах с алкоголем и осмыслением моего жалкого бытия, о счастливых моментах детства, о когда-то цветущих шафранах и солнечных простынях. Умолчала я о главном обитателе дома, понимая, что сурового мужика такая ерунда не может интересовать. Мы условились встретиться здесь через неделю с деньгами и документами и разъехались каждый по своим городам и весям...

Больно хлещет крапива, словно горит огонь.

Прошлого нитка криво — линией на ладонь.

Память имеет значение, голос в плаче дрожит.

Ты попроси прощенья, чтобы счастливо жить...

Звонок деревенской соседки:

— Приезжай, твой дом сгорел...

А дальше всё смутно, как в старой газетной хронике. На месте когда-то живого дома, на месте моей боли и моей памяти тихо тлеет пепелище цвета крысиной оравы. Остались лишь осколки жизни трёх поколений: обугленный коврик, железная спинка кровати, старый медный таз, служивший мне в детстве барабаном, и чудом уцелевшая

пустая коробка из-под пряника, хранившая застывшие фотолица. Эти осколки — моё вечное ранение, аукающееся на погоду и в минуты отчаянья и грусти. Дом обратился в сотни пепельных птиц и улетал куда-то в небо. Я легла на остатки сгоревшего прошлого, чтобы навсегда уснуть. Пепелище издавало странный треск, который постепенно становился всхлипом, а потом громким воем. Я закрыла уши руками, но от этого нельзя спрятаться... То ли это вой дома, то ли домо-вой... Прости меня, домовой. Я ревела так, как не ревела уже давно, слёзы не капали, а падали тяжёлыми железными шарами необъяснимого чувства вины и причиняли невыносимую боль каждой клетке моего тела. Моя внутренняя истерика вылилась в неудержимый бег. Я схватила обгоревшую подковку, висевшую на двери сгоревшего дома, и бросилась бежать на железнодорожную станцию. Не помню, как преодолела эти пять километров, пытаюсь скрыться от чувства вины. Помню, как рыдала на лавке пустой электрички с обутленной подковой в руках, оплакивая молчаливого хранителя.

Бегут годы... Места моей боли и памяти заросли дикой травой, и скоро их поглотит безбрежный лес. Я бываю там редко, но когда случается там появиться, везу в память о былом шафраны — фонарики моего погасшего детства.

Ау-ау — по тропинке кривой
В припев отпускаю душу.
Слышу песню твою, домовой, —
Ты тоже мою послушай!

Альбина Мамаева

Покова

В Покову я попал, дай Бох памяти, в семьдесят шестом году. Я тот год школу окончил. Осенью поехал к брату на Ангару. Он к тому времени на Дворце годов пять прожил и нам про охоту все уши прожужжал. Я дак спал и видел себя на осенёвке в настоящей тайге... Вот он и сосватал меня в напарники к своему товарищу, кадровому охотнику.

Андрей был поковинский. У него в деревне Костиной отцовска изба стояла. И участок там.

Прилетел я перед самым заездом в лес. Как собиратца на осеновку, чё с собой брать — не слыхивал. Кабы знатьё, я бы с Васи-то с живоиво не слез, пускай бы сам всё обсказал да проверил.

Оне сказывали, как туды добиратца, да я не переживал. По физкультуре-то я последним сроду не был.

Из дому выехали до свету. На коня сгрузили всё снаряженне, одёжу, правьянт да харчи на всю осеновку... А сами чуть не девяносто километров бежали взáде! Снегу ишо не было, поголú бежали.

Дорога-то ох кака долга показалась!.. Ну и нахлебался я! Андрею чё? Оне обои с конём по этой дороге хоть с завязанными глазами пройдут. Да какá там дорога? Санная называтца! Это шшитай, што никакой нету. По Ангаре вить дорог-ту сроду не было, а в Покову, в еку глушь, и досталь...

У меня уж ноги отымаютца — тово гляди подломятца, икры сводить стало. А ево обреть, што отдохнуть, мол, пора, — стыдно. Ишшо подумат, што я никуды не годнай, да Васе расскажет. Лучче упаду!

Ночь ночевали на гуливане. Андрюха-то в лесу вырос, всё знат. Выбрали место, разожгли огонь. Напились чаю. Подклали раза три, штоб земля под костришшем прогрелась. Потом это место разгребли, очистили да на тёплой земле постелились спать. Рядом положили два бревна, а под них мох, оне до утра тлеть будут. Правда, тепло-то с одной стороны. Пришлось с боку на бок повертетьца.

К Костиной-ту подошли на другой день. Я как избы увидал — упал на коленки. Ей Бох, нисколь не вру! Это ишо хорошо, што не заплакал. Слёзы-то недалёко были...

Пошли в свою избу. Докуль печь прогрелась, успели мало-мáло шмутки разобрать да постели наладить. И всё молчком!

— Андрей, — говорю, — у тебя де рáдиво-то? Скоро новости передавать должны, давай погоду на завтре послушам.

— Нету радива. Чё-то подёковалось, в прошлом годе замольчало.

— Дак давай я погляжу.

— Радиво не девка, чё на него глядеть? — а сам всё же пополз под койку, достал коробку, обтёр рукавом. — Шибко охота, дак гляди. А мне оно даром. Еслив ково узнать нады — легче к Спиридонычу сходить. Тот про всё доложит!

Я развязал коробку:

— Родима мама! Ты ево де взял? — в коробке лежал старый «Турист», ишо в карболитовом корпусе. — Неуж вправду до прошлого году работал?!

— Как часы — тётка не даст соврать. Как отец привёз из Кежем в пятидесяты года, так ни разу не затыкался. По всему дню ревел.

Я снял крышку. Ё-моё! Изнутри-то што новай! За эстоль годов, видать, никто не разбирал. Берегли пúшше глазу...

Сразу увидал, в чём дело. У этих «Туристов», штоб потише ли погромче сделать, ручку не крутили, а шевелили влево-вправо. Проводок-от и перетёрся в этом месте. Делов-ту: пять минут — вот и заговорéло радиво!

Наўтре глаз продрать не могу, а слышу: бур-бур-бур, — хто-то шушúкатца. Ково лешак до свету привёл? Голову-то маленько поворо-ти́л — у меня в изголовье на яшшике Агаша сидит, Андрюхина тётка. На коленках узелок дёржит. Он уж успел железну печку растопить, с паперёской в зубах сидит на кокурках перед дверцей. У чайника из носури пар пошёл — вот-вот закипит. Видать, давненько беседуют...

Тут тётка бросила на меня глаза:

— Ва-ай, никово не вижу, парень-от не спит! Думала, так и уйду, не дождуся. Это в тебя куды вохóдит — эсколь-ту спать? Скоро уж рас-светат, ты всё лежишь. А я утресь коровёнку почилькяла, дай, думаю, забегу — погляжу, как ночевали, да молочком напою. Зашла, а тут радиво играт! Оне де ево взяли?! А Андрей: мол, так и так — напарник направил. А ты, родимай, на это учился ли, как ли? На радивомон-тёра-то? Пошто вчерась-то никово не сказал? Я бы тебе сразу всё и ондала́. А то, вишь, пришлось сёдни с краю на край два раз сбежать. Работу тебе притащшила. Эвон сколь насбирала, — она указала рукой на передний угол. На табаретке лежала ишо одна котомка, тоже увязанная в платок. — Ты уж, ради Христа, не отказывай. Хочь изо всех один слóжишь — и то давай суды! Уж не всё же вы по́ лесу бегать будете — сколь-нить времечка выберешь. Торопить никто не торопит, лишь бы направил. Это вить стыд, што радива в избе нету! А я до смерти люблю песни слушать. Наипаче как под гармонь да под баян поют. Ковды и спляшу под них. А чё?!

— Ано хто чево, ты замольчишь ли нет?! Пошто парню стать-ту не даёшь? Пушай на двор бежит, оправитца да ополоснётца. Он уж ись отошшал, а ты буровишь сидишь чё ни по́пада...

— Вай, дак вправду вся кругова́. Это я на радостя́х разговорéлась. Иди-иди!

Я не двадни соскакивал! Исправил все дела — на улице нежарко, долго не посидишь. Потом ополоснулся из рукомойника.

А у них уж чай на столе. Гостя развязала свой узелок:

— Гли-ка, я вить не с простыми руками пришла. Это тебе за работу! Сѣдни уж отстряпалась. Рыбник ешьте да шаньги картошешны. Какэсь горечи были. Долго спишь, всё простыло, — Агаша живо налила молока из трёхлитровки, тоже ўтрешнево удою. — Дак чѣ и говорю: без радива-то худо-нахудо. Чуть чево, бежим к Спиридоновичу на рацию. И новости все у него. Дак у них не поразговаривашь — боисся лишный раз рот отворить, не то што чево. Ты што-о-о!!! Он вить партейный — не дай Бох чѣ-нить неладны сболтнуть... Потом не оберёсся. Осѣрдитца, дак вся деревня на бобах останетца — не будет к рации допускать...

...Я слушать слушаю, а про пироги не забываю. И как она их заводит? Во рту тают! За таки пироги, пожалуй, и «радивомонтѣром» не грех поработать.

Тѣтка посидела недолго, побежала домой. Напоследок наказала: — Воду будете таскать, дак у нашей ердани я шест воткнула с зелёной тряпицей, штоб не спутали с карнаевской.

— Ты чѣ, тѣтка? Мы почево на другой край-от пойдѣм? Тут ближе-то пролуби нигде нету ли, чѣ ли?

— Дак с чево нету-то? Есь. И у Поликарповича, и у Терентьевича на этом краю. Дак оне не дают в своих-то пролубях воду чѣрпать. Ишшо в прошлом годе завели моду, штоб каждая изба свою ердань чистила! — Ишо не лучше! Наготово одичали — пролуби делят! Вы чѣ народ-от смешитѣ?

Тѣтка махнула рукой и отворила дверь, на ходу бросила:

— Ну, гляди, раз перепоясают коромыслом — не смешно будет. А мне дак ничѣ, не чижало вычистить. Сам с осеновки приедет — и овсе меня ослобонит. Дак зато не об чем и говорѣть! А то вить как утро, так под угором реви́шша! Сѣдни, примерно, очередник узковату ердань расчистил: не то што ведро — ковшик не вохѣдит. Вот тебе и ругань. Назавтре большу хто-то выбухал. К большой-ту опеть подходить боязно — не дай Бох, посклизнёшься и улетишь туды. То воду на́лили кругом — опеть стырят: мол, новы катанки промочили... А со своѣй-ту пролубью делай ково хошь. Мы дак уж привыкли, бытто так и нады.

От деревни к тому времю осталось одно прозвѣанне. Но всё ж-ки в пяти избах жили. И все пять — Иваны.

Первый — Иван Поликарпович. Думаю, што он костинский, но до самой пензии жил в Кежмах. Возил на самолѣтах курьерску почту. Все знают — это почтальѣн, только называтца красивше. А Поликарпович шшитал себя почти што лѣтчиком и поглядывал на всех свысока.

Другой — Иван Терентьевич. Болтуринский. Как уж он в Костину попал — не знаю. И чѣ им на Болтурине не жилось — тоже. Ну да это их дело.

Третий — Иван Карнаев, отчество у него я то ли запомнил, то ли не знал. Да и самово худо помню.

Четвёртый — Иван Спиридонович. У него всё было не как у людей. Один коммунист на всю деревню. У него же была рация, тоже одна на всю деревню. Через неё держал связь с миром. Но само главное — у него баня с земляным полом и топелась по-чёрному. Другой никак не хотел. Как его старуху звали, не знаю, врать не буду. Но уж такая чистотка да рукодельница, каких поискать! У неё в избе сроду пылинки не было! Кровати с подзорами. Половички из белёного холста. Уж у неё и окошки, и кровати, и настённый — всё в кружевах да в вышивках! Сколь из-за этой бани ни стырила, никак не могла его своротить.

Да она каждую неделю скоблила стены в бане аж до жёлта! В субботу ползала в лес, натаскивала в баню пихтачу, застилала им весь пол. А сам-от парился шибко. Уж он хвощетца-хвощетца, обольётца студёной водой — и опеть за веник! Потом падат на пихту — отдыхат...

И пятый тоже был Иван. Но этово я в глаза не видал. Мы его в деревне не захватили — он ишшо до нас ушел в своё зимовье на весь сезон. Домой выйдет к Новому году. Знаю, што за ним взамужем была Агаша, Андрюхина родна тётка.

Вот и вся деревня.

День отдохнули да взялись за промысел. Там и снежок выпал.

Из Андрюхи слова не вытянешь — немтырь, каких свет не видел. Как с утра выходим из избы, он ноги в юксы сунул — и пошёл.

Вот уж де я проклял всё на свете! Лыжи-то не беговы — охотничьи! Да камусны! Я почём знал, што к нимя сперва приноровитца нады, на них не вдруг побежишь?! Это бы ладны, да лыжи-то попали нихто ничаво — старье. Юксы худы, нисколь не дёржат. Катанки в них хлябают, туды-суды катаютца...

Да как издива вышел — по всему дню двоём ходим, Андрей хоть бы раз на меня оглянулся! Это што за терпёнишше! Изредка остановитца паперёсу прикурить, дак и то в мою сторону голову не повернёт! Ишшо дивья, што снег неглубокай был. Я как из мочи выду, лыжи на плечо — и врысью за нём! Догоню, тожно опеть одену. А он бытто овсе про меня забыл — идёт и идёт. Нисколь не сбавлят. И мольчит всю дорогу. Знат вышагиват как ни в чём не бывало!

Раз тако дело, чё я за нём таскатца буду? Стал ходить от него наразно. Конечно, было страшновато. Наипаче по первости. Ишо и Спиридонович кажиннай вечер придёт и рассказыват про медведя. Зачин у него один:

— Да, паря, повидал я на своём веку медведёй, добывать не раз приходилось... Правду сказывают охотники: сороковой — он обязательно роковой...

И давай заливать, как привязался к ним осенью медведь-шатун (сороковой по шпоту!). И был этот медведь умней человека. Как толька он не изгалялся над охотниками, а оне никово сделать с нём не могли!

С каждым вечером этот медведь, по рассказам, всё хитрей и хитрей делался... А само главное, што ево до сей поры никто так и не дóбыл. И каждую осень он ходит тут по деревьям, пужат народ.

Верить ли, нет в эти сказки, а по лесу ходить всё ж даки страшновато...

А ко мне старухи ходить наповадились. Идут то со стряпнёй, то с рыбкой или с рыжичками. У всех была одна беда: радиво не работат. И, главное дело, у всех были одне «Туристы»! Видать, в одно время брали где-то. И болесь одна: проводки перетёрлись от старости или уж батарейки потекли. Вот я и наловчился. Пять минут — и готово. Видать, подчистили все завозни и кладовки, изо всех углов вытащили «Туристов». Я раз не вытерпел, говорю:

— Баба Шура, дедушка пошто сам-от не снял покрышку? Сразу бы причину нашёл. Отправь ево суды, покажу, где глядеть нады, и научу, ково делать.

— Ему хто дас покрышку-то снять? Я сама-то пыль с него раз в месяц стираю, штоб, не дай Бох, не повредить незначай. А этот — он вить только изнахратить умет, боле никово!

— Дак я скоро уеду, пушай сам привыкат, ремонтирует.

— Ты мне об этим даже не заикайся! Ему сроду никово нельзя в руки дать: не то што исправить — наготóво напарухат. Он раз в год лучину-то нашшепáт, дак я с ней огонь разжéгчи не могу! Ни на охоту, ни на рыбалку — никуды не годнай. Однём бы языком и работал — бóтало, боле никто!

— Дак ты пошто за еково-то пошла?

— От! И мне ково-то молол-молол языком — не увидала, как взамуж выскочила! А чё сделашь? С ним вить тоже кому-то жить нады.

Сколь годов прошло, счас уж и Покову затопило, а Костино перед глазами стоит. И Андрюху, царство небёсно, нет-нет да спомню... Наипаче на охоте. Не знаю, много ли, нет ли я у него перенял... Само-то главное, што он мне охоту не отбил в лес ходить!

А сигнал к охоте у меня один: как в сентябре всё тело засербелось — пора начинать закупать правьянт да склáдыватца... Другово лекарства нету.

Владимир Богатырь

НАПАРНИК

Начало сезона. Мясо нужно.
 Промысел впереди.
 Дождись непогоду, а как завьюжит —
 Бери карабин и иди.

За хребет ушёл подшумелый зверь.
 Однако жалко бросать.
 «Однако, придётся, — сказал человек, —
 Нынче в тайге ночевать».

Человек уже смотрел на огонь,
 Когда притащился кобель.
 Тогда человек развязал мешок
 И дал кобелю сухарей.

Одиннадцать раз повернулся пёс,
 Прежде чем лечь на снег.
 «Одиннадцать раз — хороший знак», —
 Подумал человек.

Усталость в тайге всегда за спиной.
 Постель недолго стелить,
 А за зверем походишь, так перед сном
 И глаза забудешь закрыть.

Человек разомлел от костёрных ласк,
 Да и за день крепко устал.
 Дров маловато на ночь припас —
 Маленько не рассчитал.

А холод будит. Кабы не он —
 Спи, как смолёвый пень.
 Морозом краток таёжный сон.
 Скорей бы рассвет и день.

«Чаю сварить, покудова ночь,
 Да портяночки подсушить», —
 Встал человек и пошёл приволочь
 Пару добрых сушин.

С развилины кедра щерится чёрт.
И чёрт произнёс: «И-и-и раз!»
И острым, как шило, еловым сучком
Человек себе выколол глаз.

«Пихтовый сок... вскипятить воды...»

Опухли щека и нос.
И единственным зрителем этой беды
Был бессловесный пёс.

Пёс с ладоней кровь облизал.
Беспомощна первая мысль.
Сознание беды — слезой в глазу.
В другом — кровавая слизь.

Мужчиной был тот человек
И таёжник до мозга костей.
И немало успел повидать за век
Ранений, травм и смертей.

«Было бы хуже лишиться ноги.
Не допрыгаешь без неё.
Без глаза можно. Господь, помоги
Скорее дойти в зимовьё.

Два перевала и три ключа
Недлинных, но путь есть путь,
Как много минут в осенних ночах,
О ночлеге теперь забудь.

Теперь тебя понесут вперёд
Отчаянье, страх и боль.
И опасность сознание твоё печёт
Хуже, чем рану — соль».

Он снял с сука боевой карабин
И достал трофейный фонарь.
И повторил: «Господь, помоги!
Выручал же, бывало, встарь...»

С двумя-то глазами после пурги
Трудно «в пята» выходить.
А тут от боли мутятся мозги,
Недолго и заблудить.

И трое суток плутал человек.
Поморозился, изнемог.
На колоде он видел лежащий снег,
А думал — это порог.

Из подручных сушин разводил костры
И сидел навроде совы.
Замерзал, а казалось ему — от жары
Загнило полголовы.

Костёр догорал. Он долго не мог
Себя заставить встать.
Сухари кончал, от воды снеговой
Хотелось соли и спать.

Близка мечта о пуле в висок,
«7,62» при себе.
Мучений нет, и брусничный сок —
Струйками на снег бел.

С глазу на глаз со своей бедой,
Судьбы недогляд, недóмысел.
Мысль поплавком над беды глубиной:
«Мужикам поломаю промысел».

Не о зрячем куске шкуры своей,
Слизи кровавой в руках,—
О фарте тяжёлых охотничьих дней,
О напарниках-мужиках.

Нашли его на четвёртый день.
Помог прибежавший пёс.
Тело в сенях прислонили к стене —
Под сорок стоял мороз.

Он не дошёл метров семьсот.
Так, ползя, и лежал,
Самокрутной бумаги мятый клочок
В деревянных губах держал.

Накарякал на нём тринадцать слов:
«Прошу, мужики, простить.
Мне самому помирать не с руки —
Вам не хотел насолить».

Мужики положили ему стоять
В сенях до самой весны.
Почту с бедой за сто вёрст гонять —
Кому от этого смысл?

Даже шутили: «Пусть-ка придёт
Какой ли бездельник-вор —
Тут же в сенях в штаны накладёт,
Не успеет скакнуть во двор».

Втроём веселее. Всё ж артель.
В избушке, в тайге, в снегу.
Прощались-здоровкались каждый день,
Идя из тайги в тайгу.

«Иван, покудова. Скоро день.
Не журишь. Чё не бывает?»
А он молчит, как смолёвый пень.
А вроде как людям рад.

Жёнке его отдали пай.
Сколь добыли — на троих.
И в деревне никто так и не знал,
Что охотничал в неживых.

Историю эту мне рассказал
Один «промышленный» дед.
И закончил на том, что таких людей
Теперь и в музеях нет.

«Ноне не та пошла молодёжь.
Ей таёжной науки не знать.
За зайцем спаршшика не найдёшь,
Не токмо берлогу брать».

Игорь Бирюков

СМЕРТЬ — ГУМИЛЁВУ

...И с тобой мы встретимся в раю...

Николай Гумилёв. Смерть (1905 г.)

Гумилёв, не глумитесь над смертью. Я не глупа.
Покурить? Я не против. Стрельните мне у стрелков.
Это место ужасно. К нему зарастёт тропа.
Что ж, не всем светят Чёрная речка и Петергоф.

Я красивая с вами, хотя я страшней войны.
Говорят, что костлява. Вдобавок ещё коса.
Мне приятно, что вы благородно со мной — на «вы»,
Улыбаетесь искренне, не отводя глаза.

Я бываю нелепа, внезапна, легка, добра.
Но поверьте, мой милый, меня убивает быт.
Вот идёшь словно мусор выбрасывать из ведра,
А вокруг завывают: «За что? Почему? Убит!»

К вашей Анне я, кстати, приду в шестьдесят шестом.
Это будет старушка. И лучше бы не смотреть.
Вам же так повезло: молодым — и почти Христом.
Гумилёв, я ревную. Я женского рода смерть.

Вы, конечно же, слышали: Блок отошёл на днях.
Что-то косит поэтов. Простите за каламбур.
У меня Маяковский с Есениным в очередях.
Но они — не моё: эпатаж, моветон, сумбур.

Ладно. Яму вам вырыли. Это почти финал.
Через пару минут тут начнут убивать, шуметь.
Вы умрёте шикарно. Так даже чекист признал.
Гумилёв. Я расплáчусь. Я женского рода смерть.

P. S.

Я люблю вашу «Смерть» и цитирую наизусть.
Я хотела бы жить с вами вечно на озере Чад.
Вам смешно, Гумилёв, а я снова за вас убьюсь.
Говорят, вы бессмертны. Не знаю. Так говорят.

ХВОРОСТОВСКИЙ — 22.11.2017

Орфей не спускается в ад. Он — выше.

Смерть для него — молчать...

Если Бог захотел вживую услышать,

Богу не отказать.

БАЛЕТ КАК НАШЕ ВСЁ

Танго в Париже не станет последним, запомни.

Странно исполнить в Версале предсмертное па.

Ты свои танцы оттачивал в каменоломне,

Камнем бросаясь под ноги месье Петипа.

Русским сезонам быть снова и снова на зонах.

Зондеркоманды — под пачками загнанных прим.

Завтра ты будешь легко разбираться в законах,

Если окажешься этой судьбою судим.

Танцы смешались, как руны, цитатники, торы.

Ватные стопы, железные пальцы пуант.

Время превратных путан и частных танцоров.

Время балета, где каждый второй — ампутант.

Без головы. Без сомнений. Без боли. Без Бога.

Бодрый танцор прожигает ступни на углях.

Проданы партии тем, кто старается в ногу.

Сколько Плисецких убито уже в лебедях.

В этой Священной весне на свободу — мгновенье.

Жаль, на Большом неизбежна печать меньшинства.

Танго в Париже не будет последним, поверь мне,

Лишь потому, что за нами, как прежде, Москва.

ПРАВИЛЬНЫЕ СТИХИ

Ты нужен своей стране,

чтоб молча держать ружьё.

Не важно: Непал, Уэльс, страна просветлённых Оз.

Здесь реет, как гордый стяг, нестираное бельё

В крови твоих праотцов времён революций роз.

Ты нужен своей любви,

пока в тебе есть запал,

Пока ты — полночный взрыв, способный её накрыть.

Как нежно свербят внутри осколки желанных жал,

Которые выпускал, чтоб в ненависти любить.

Ты нужен своим богам,

пока ты не встал с колен,

Пока у тебя в ушах шуршат муравьи молитв.

Почувствуй свободу там, где все отдаются в плен

И где заключают мир, друг друга сперва убив.

Ты нужен своей душе,

пока она ищет мысль

И смысл, что наполнит жизнь и даже последний вздох.

Но ты не увидишь, как Душа отлетает ввысь,

Пока её держат здесь Страна, и Любовь, и Бог.

HEMINGWAY И ЕГО ДРОБОВИК¹

— Хэм, займите свой мозг, вычисляя дробь!

А иначе ваш ум умирает, Хэм.

— Док, у вас в документах и хворь, и скорбь...

У меня же в уме лишь одно: зачем?

— Хэм, примите, пожалуйста, порошок.

Я не рад радикально менять процесс...

— Док, вы верите в чёртов электрошок?

Вы наивней, чем Джоуль, Ампер и Герц.

Вы стираете памяти капитал.

Даже буквы не помню от процедур.

Видит Бог, я до гроба не забывал

Подлецов, мудрецов и наивных дур.

Ваша клиника не выбивает клин.
Ваши методы метят, увы, в висок.
Трижды сплюньте на мой мимолётный сплин.
Карантин навсегда отмените, док.

Паранойя? Нелепо-смешно звучит:
Пара Ноя покинет навек ковчег.
Док, зачем вам пытаться меня лечить?
Хэм и Хам — это сдвоенный человек.

Для чего он засел глубоко внутри?
Как маньяк, что в меня без меня зашёл.
Мы идём на охоту на раз-два-три.
И у нас на двоих этот общий ствол.

Док, я знаю, вы завтра войдёте в дом,
Чтоб собрать мой разбросанный мозг в пакет.
Скорбный колокол, тот, что «по ком, по ком...»,
Вдруг заткнётся впервые за много лет.

Кончен праздник, который всегда Париж.
Я прощаю оружие, бомбы, нож.
Человека, я думаю, не победишь,
Даже если в себе ты его убьёшь.

P. S.

Видит Бог, я старался, мой док, как мог.
Но старик утонул в море прочих книг.
Я-то думал: убийственным будет слог.
А они моим именем — дробовик...

1. У Эрнеста Хемингуэя была тяжёлая паранойя. В качестве лечения применялась электросудорожная терапия. 2 июля 1961 года Хэм взял любимый дробовик, вставил ствол в рот и спустил оба курка. Модель ружья, из которого он застрелился, была переименована. Теперь эта модель двустволки (якобы) так и называется — «Hemingway».

Дарья Лысенко

Победитель краевого литературного конкурса
имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэзия» (взрослые)

ГДЕ-ТО МЕЖДУ

У меня, говорят, всё спокойно и хорошо:
если боль — то по мелочи,
если успех — большой,
если драма, то всё же
с не самым плохим концом.
Если вдруг форс-мажор, я умею держать лицо.
Я умею учиться — практически у всего,
поднимаюсь быстрее, чем падает большинство.
Мне любое несчастье приходится по плечу.
Я умею любить,
но,
в общем-то,
не хочу:
мне хватает и так вариантов, куда и с кем.
У меня, говорят, не бывает вообще проблем:
мол, откуда им взяться? Действительно, повезло!
По карманам рассованы чёртовы горы слов,
в кошельке всё в порядке, и столько же с головой.
Я умею в тылу и могу на передовой —
мне не сложно ни капли. Среди ледяной пурги
я так ярко свечу, что могу поджигать других...
Я так ярко свечу, что должна освещать им путь!

А когда я лежу, и никак не могу заснуть,
и пытаюсь не слушать ветров законный вой
и себя ощущать ну не целой, а хоть живой,
настоящей, не из железа и не святой,
у меня получается думать, но лишь про то,
через сколько кругов и какую войну прошёл
тот, кто делает вид,
что всё время
всё
хорошо.

* * *

Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Каждый диалог — метание единственной гранаты туда-сюда, как в детстве: горячо! Печёная, ну чтоб её, картошка. Вчера ты целовал моё плечо, а я тебя царапала, как кошка, и мир взрывался где-то за окном дождём, неотвратимым и беспечным, ты брал меня — на хитрость, на приём — и губы осыпал мои картечью.

Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Вот тебе порог, а вот — дорога: нужен провожатый? Шагами поутоптанная пыль, деревья, почерневшие от гари... Вчера холодный край моей стопы бездумно по диванной кромке шарил, и мир взрывался где-то за окном закатом, а потом уже рассветом; ты брал меня — на поле боевом — наполовину всё ещё одетой.

Метафора простая, как сапог: война, в которой мы с тобой — солдаты двух разных армий. Каждый одинок — и никого, кто был бы виноватым. И никого, ты слышишь, никого! Осела пыль в молчании дорожном. Вчера ты выходил из берегов, сегодня — утекаешь осторожно, и мир дрожит от взрывов изнутри, а за окном теперь всё тихо, мирно... Ты брал меня — трофеем, как турист берёт на память в лавке сувенирной.

Ты брал меня — как взял бы «языка» (и выдал бы потом без сожалений). Мы на войне. И нам не привыкать к комедиям, ну чтоб их, положений, к приказам, за которыми — ничто, к бессмысленной жестокости и боли. Вчера ты закатал меня в бетон и чучелом оставил в чистом поле, а мир взорвался и потом не смог собраться воедино, вот проклятый... Метафора простая, как сапог. Война, в которой никогда солдатам

не победить. Себя или других — а так ли это важно, в самом деле? Воронки от окопов и круги от недосыпа, мятые шинели, и слежка, и засады, и огонь — то шквальный, то усталый перекрёстный... Вчера мы были всем, но ничего не длится бесконечно, это просто. Закон таков и, может быть, урок войны, в которой мы с тобой — солдаты...

Метафора простая, как сапог.

И, как сапог,
она мне
маловата.

НЕВАЖНОЕ

Расскажи мне про неважные вещи,
Ведь про важные все всё уже знают.

Я сама была, наверно, такая:
Тоже думала, что может быть легче.
Тоже думала, что может быть проще,
А сбежать — всегда нужней, чем остаться.
Боль свою таскала, будто бы панцирь,
И зачем-то пробиралась на ощупь
Там, где свет легко включали другие.
Я лежала, как бревно, до обеда,
Под дождём ходила в порванных кедах,
Хоть и были у меня сапоги, и
Никого нигде ни в чём не винила,
Никого поближе не подпускала.
Завлекала, как сирена, на скалы —
И потом там, как сирена, топила.
И сама там, словно камень, тонула —
Только волны расходились кругами.
Все вокруг служили мне рюкзаками
На спине, от этой ноши сутулой.

Это было. Ничего не скрываю.

Ведь мы все — из переломов и трещин.

Расскажи мне про неважные вещи.

Ничего важнее их
не бывает.

МАК БЕЛОШЕРСТИСТЫЙ

Шаги даются с трудом и дрожью:
Обманчив снег, не удержит наст.
Здесь только тундра и бездорожье...

Гадай ещё, кто тебя предаст.

Гадай, кто вырежет суть из жизни,
Из рёбер сердце, из глаз — мечту...

Но лишь в полярной ночи капризной
Увидишь небо в его цвету:

Зелёный, синий, лазурный, алый...
А в жёлтый — мак на земле одет.

В ночи, где света ничтожно мало,
В ней тоже можно увидеть свет.

Пускай прошлись по груди плугом
И заморозили грунт в горсти...

Но мак цветёт за полярным кругом —
Я тоже, значит, смогу цвести.

Ульяна Яворская

Победитель краевого литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» (взрослые)

ОБЛАКА

Облака в нашем детстве белее, пушистее,
 На ромашки похожие или на вату.
 Помнишь, в парке мы ели? Нам мама с зарплаты
 Отдавала монетки, как солнышко, чистые.
 Облака в нашем детстве летели по камушкам.
 Тени их перепрыгнув, мы в речке плескались.
 И до неба почти доставали руками.
 И смотрели, как солнце заходит, до краешка.
 Облака в нашем детстве летели над астрами,
 Над головками спелых подсолнухов бабушки,
 Разноцветьем ранеток, под яблоню падавших,
 И над запахом булок к заутрене ласковой.
 Облака в нашем детстве порой разбегались,
 Как и мы, в догоняшки друг с другом играя.
 К нам летал самолёт из далёкого края,
 Где полно приключений — так раньше казалось.
 Мы махали ему и кричали так громко,
 Что на шеях мальчишечьих жилки вздувались.
 Улетал он за крышу, где мы не бывали,
 Самолёт серебристый и с красной каёмкой.
 И нам думалось в детстве, что за огородом
 Ждут пилота волшебные дальние страны.
 Мы мечтали за ним полететь, и без мамы.
 И неслись облака над землёй хороводом.
 Иногда закачается памяти зыбка.
 Будто треск от винтов самолёта я слышу.
 Так счастливое детство летает над крышей.
 И неведомый мир видится за калиткой.
 Облака в нашем детстве такие же, правда же,
 Только ростом повыше и чуть побыстрее.
 Я смотрю одиноко на облако Время —
 Поседевшее в небушке облако в завтра.

СЧАСТЛИВОЕ

Мама, ты, наверное, не помнишь.
То ли я уснул не до конца,
Но проснулся вдруг примерно в полночь
И увидел ёлку и отца.
Из-за двери детской тёмной спальни
Я пошлёпал прямо босиком.
И глаза раскрылись моментально,
Освещён, украшен был наш дом.
Ты стояла у стены на стуле,
Стройная, как девочка почти,
И гирлянды новые тянула.
Мне хотелось ближе подойти,
Посмотреть, как чудно раскрывались
Фонари китайские, шурша.
Вы, как дети, с папой улыбались.
А мороз в окошки надышал.
Там, на ёлке, старые игрушки
И флажки, как чистое бельё
Гномов на верёвке на просушке,
А под ёлкой — вата в шесть слоёв.
Дед Мороз пока ещё в коробке,
А отец наверх надел звезду.
Рот раскрыв, стоял я тихо, робко.
Щекотал от ёлки свежий дух.
Мне потом немного стало зябко,
Ты скользнула вниз, меня прижав.
Как смотрел на нас с тобою папка!
А потом в охапку крепко сжал.
Было мне так счастливо и сонно,
Сквозь узорный на окне клубок
Показалось, будто я запомнил,
Как смотрел и улыбался Бог.

ОКУНЁК

Помню далёкий июлем раскрашенный день,
Зáводи мелкие солнцем до дна пробивало,
Нити растений внизу колыхало устало,
Будто бы волосы девушек в чистой воде.
Я наблюдал, как невидимым гребнем река
Пряди зелёные, перебирая, чесала,
Листьями редкими с веток прибрежных играла,
В водоворотах крутя и мешая слегка.
Эта игра бесконечных лиловых теней —
Будто цыганка на картах судьбу ворожила.
Вдруг золотистое брюшко мелькнуло из ила.
Рыбка никак? Я пошёл по течению за ней.
Вспомнилась сказка о старом корыте мне вдруг.
Шёл и смотрел, как плывёт окунёк мой за мною,
То исчезая, то красным мелькая вдруг снова.
Пахло рекою, и счастье плескалось вокруг.
Блики играли, скакали по рыжим стволам.
Так я шагал, и мелькало в воде золотистым.
Небо в воде в перекатах бежало так быстро.
Лето разломлено яблоком напополам.
Где-то осталась за четвертью века река.
Где же ты скрылась, моя золотистая рыбка?
Не загадать три желания было ошибкой.
В луже осенней листочек — как хвост окунька.

СОСНА

Моя душа, летая в каждом сне,
Дороги к дому повторяет абрис,
Она одна, в Сибирь заветный адрес,
И все мечты направлены лишь к ней.
Здесь папа, дом, и много лет пути,
И та сосна, что пахла чем-то терпким,
Её иголки где-то возле сердца,
И солнцу через них всегда светить.
Она махала, ветки распластав,
Когда с отцом мы проплывали мимо,
И вёсла пели так невыразимо
У каждого знакомого куста.
Вершины гор, как спины у китов,
Поросших лесом, спали где-то рядом.
Я провожал их, обернувшись, взглядом.
И отражались сны их за бортом.
Я пальцы опускал. Вода текла,
И дно у лодки снизу холодило.
На мелководе шли кусочки ила.
И двигались отца ладони в лад.
Сосна стоит под зноем и в снега,
Ей срок людской почти что не заметен,
Мне тянет жилы место вечной Мекки,
Где каждая пылинка дорога...

Анатолий Вершинский

Ночной полёт С ЗАЕЗЖЕННЫМИ РИФМАМИ

Когда летишь безоблачную ночью,
а под крылом — безлунная Сибирь,
готовься чудо высмотреть воочью
во всю иллюминаторную ширь.

Смыкается с тайгой небо в звёздах.
Горят во тьме таёжные огни:
пронзая чуть колышущийся воздух,
мерцают, будто звёздочки, они.

От века хлопоча о пайке хлеба,
летим, спешим, не видя впопыхах:
земля, по сути, отраженье неба —
при всех её хворобах и грехах.

СУДЬБА

*Памяти моего отца
Николая Николаевича
Вершинского*

Город Жуковский. То место, откуда
с аэродрома военной поры
шли бомбовозы на запад. От гуда
стёкла дрожали, как будто с горы
камни катились... Крылатое войско
с неба разило врага наповал.
Стала гвардейской на службе геройской
часть, где отец-сибиряк воевал...
Случай всегда в полушаге от чуда.
В эти края занесённый судьбой,
позже узнал от отца я: отсюда
в лётном полку он отправился в бой.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Их движения так филигранны,
так точны, как шлифовка брильянтов.
Исполняют подъёмные краны
журавлиный балет без пуантов.

Не спеша, как в замедленном фильме,
в лад гитаре, поющей в подсобке,
кружат краны, и служат им крыльями
клочья дымки в подножии сопки.

Не смолкай, подзаборная лира!
Жизнь бывала и доброй, и злою:
прививала чутьё ювелира
и отвагу стоять под стрелою...

ДОМИНАНТА

Чтил народ порою достославной
правило, похвальное весьма:
выше церкви — как постройки главной —
в городе не ставились дома.

Были различимы отовсюду
в небе золотые купола...
Нынче — громоздятся, сбившись в груду,
башни из бетона и стекла.

Храма за высотками не видно —
изредка меж них проглянет он.
Горестно становится и стыдно,
словно ты застраивал район...

СТВОЛ

Ветками от лиха укрывая,
витязю нашёптывала ива:
«Это ничего, что я кривая.
Крона у меня густа, как грива —
завитая, спутанная ветром
грива скакуна, что пал под вами
в сумраке лесном, на стрелы щедром,
меж деревьев с ровными стволами.
Вот сосна, прямая, точно спица:
вам не дотянуться, добрый витязь.
Чтобы приподняться, распрямиться,
на кривую иву обопритесь!»

ТЕНЬ

Помню: в немодном пальтишке и шали
мама со мною, студентом, идёт.
Я провожаю на людном вокзале
мать — и стесняюсь её, идиот!

Вот и мои повзрослевшие дети
стали с годами чуждаться меня.
Благо, что есть социальные сети —
Где бы иначе общалась родня?

В том, что не глух к похвалам и наветам,
строгий читатель, меня не вини.
Если я в чём преуспел, то лишь в этом:
выйдя на свет, оставаться в тени...

ХРАМ В АКАДЕМГОРОДКЕ

Новомученики, исповедники —
всех имён по Сибири не счесть.
Их духовные дети, наследники,
эту церковь назвали в их честь.

На высоком яру Енисея
прихожане, чьё скудно житьё,
зову сердца перечить не смея,
двадцать лет возводили её.

Поспешайте, клиенты маммоны,
чьи кумирни растут как грибы,
подставляйте, косясь на иконы,
для елеопомазанья лбы...

ВЕЧЕР НАД ЕНИСЕЕМ

Что ещё мне, река, напророчишь?
Здесь исток мой, а устье — вдали.
Возвращаюсь домой от урочищ
и проспектов отцовской земли,
от живых — и от плит в изголовье
похороненных вместе родных...
Облака, точно вымя коровье,
город выдоил за день, и в них
блещет солнце, как медный сестерций
(мы же Рим — и на этом стоим).
Разрывается надвое сердце
между старым и новым своим...

ПАМЯТНИК ЛОШАДИ В КРАСНОЯРСКЕ

У места встречи Енисея с Качей,
где к берегу пристал отряд казачий,
стоит, напоминая о былом,
железная кобылка под седлом.

Пытаюсь факты привести в порядок.
Отряд пришёл на стругах, и лошадок,
потребных для постройки городка,
Дубенский брал у здешнего князька.

Но местная порода неказиста,
а эта краля статна и форсиста...
Желаете мораль? Она проста:
одна у жизни правда — красота.

СКРИПАЧ

Всё в этой жизни кратко и зыбко:
будь то паденье, будь то полёт...
В пальцах подростка хрупкая скрипка
полурыдает, полупоёт.

Соло играет с древнею страстью
мальчик с копною тёмных волос.
Кто наделил его нежною властью
резать по сердцу, трогать до слёз?

Чередованье аккордов и пауз
так прозвучало, душе в унисон,
что огорчился временный хаос,
вечной гармонией вновь утеснён.

В КЛЕТКЕ

В зоопарке из вольера
громом выкатился рык.
Такова у льва манера —
возвещать, как он велик.

Хвост поджала пара волчья.
Обезьянам — не до игр...
А в соседней клетке молча
возлежит амурский тигр.

Не бахвалится величьем,
не дерзит царю зверей
и встречает безразличьем
нас, двуногих дикарей...

Виталий Неизвестных

СЛЕЗИНКА РЕБЁНКА

Детей вы пугаете букой и бякой
И держите дома зверьё...
Ну что ж вы живёте как кошка с собакой,
Родители, солнце моё?..

РЕДКИЕ ВСТРЕЧИ

С годами всё чаще и чаще
Я склонен к счастливой беседе —
От вечных вопросов искусства
До частных проблем бытия.
Но ангел-хранитель ревнует
Свою поднадзорную леди,
Когда посторонний мужчина
Находится в спальне Ея...

МЕЛОЧИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Старик купил вина на рупь,
И вот, едва живой,
Он на старуху точит зуб
Последний, чаевой...

* * *

Держу в узде коня лихого,
Смеюсь и плачу на скаку.
Чего-то хочется такого,
И хрен его понять могу...

* * *

Мысль стучит под темя,
Вокруг темя нимб:
«Хронос — это время,
Ну и хренос с ним...»

ПАРАДОКСЫ БЫТИЯ

Тот, кто плюёт в колодец,
Не изойдёт слюною.
Зло на пути к совершенству
Не делает лишних шагов.
Сила рождает силу.
Слабость ведёт к позору.
Проклятия потерпевшему —
Не надо было терпеть!..

* * *

Родная сельская страна —
Моя зазноба и заноза.
Ты отовсюду мне видна...
Трещали избы от мороза,
И мы гуляли допоздна.

От холода звенела почва.
Мы шли, январь за май приняв,
И нас отогривала почта,
Верней, бессонный телеграф.

Конечно, зданья есть и лучше,
Я вечером иду на почту,
Как будто верующий в храм.

Но это помнится добром:
Окошечко, и стол, и ручка
С простым раздвоенным пером.

Как я застыл! Как ты застыла!
Смешно нам это сознавать.
И целоваться можно было,
И твои руки согревать.

...И пусть года сменили почву.
Когда в душе моей бедлам,
Я вечером иду на почту,
Как будто верующий в храм.

Екатерина Хиновкер

ПЕРВОЕ ТЕПЛО

Как долго хотелось сбросить тяжёлый мех,
Свёртки с перьями,
Шкуры мамонтов.

Тут зимой у людей насквозь промерзает смех.
Первый клич тепла
С неба манною

Кашей утренней мызгался под ногой.
Зацепился льдом серым вечером.
Иней лужи втиснул в корсет тугой,
Точно в платянице подвенечное.

И в пальто я легче любых пустот,
Город улыбает фонарный рот,
Что меня удержит, что прикуёт
К камню мостовому?

Ветер тела стебель прижал к земле,
Отдавая дань королю-зиме.
Ускоряя шаг,
Я крадусь, спеша,
В место, где февральский меня не тронет.

Перекрёсток, прямо и поворот:
Юркну между кованых струн ворот...
Тихий полубег, странный полулёт
Спрячу в переулках пустых ладонях.

ТЕЛЕВИЗОР

В доме за нас говорит телевизор.

Переключаю каналы. Везде реклама.

Найди в упаковке чипсов счастье в качестве приза.

Вот оно, счастье, где.

И почти задаром.

Всё как у многих: диван,

На балконе лыжи.

Слоники из фарфора замерли неподвижно.

И телевизор.

Громко орёт телевизор.

Глушит всё то, что пытаюсь словами выжать.

Голос мой — призрак — отчаянно хочет выжить.

Я никого из домашних не слышу.

Меня не слышат.

Игорь Герман

Реакция Вассермана

Комедия в одном действии

Второе место в краевом литературном конкурсе имени Игнатия Рождественского в номинации «Драматургия»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

МАРИНА ПАНЬКОВА.

АНДРЕЙ ПАНЬКОВ.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА.

МЕДСЕСТРА.

Квартира Паньковых. Марина и Андрей — молодые супруги. Марина ждёт ребёнка. Сейчас она собирается в женскую консультацию. Они что-то обсуждали с Андреем, потому что оба чуточку взъерошены темой своего разговора.

МАРИНА. Неужели она ничего не знала?

АНДРЕЙ. Понятия не имею. Может, знала, но закрывала глаза?

МАРИНА. Тогда как объяснить её бурную реакцию, когда ей стало это известно?

АНДРЕЙ. Реакция действительно была бурной.

МАРИНА. Нет, женщина всегда догадывается, если мужчина ей изменяет. Это передаётся на подсознательном уровне.

АНДРЕЙ. Наверное, ей не передавалось.

МАРИНА. И всё равно, даже если она действительно ничего не знала и даже не подозревала... Так унижать себя в его глазах и глазах коллектива!.. Закатывать при всех такие дикие истерики!.. Он просто не стоит этого.

АНДРЕЙ. Конечно, смешно.

МАРИНА. А что же здесь смешного?

АНДРЕЙ. Все измены и семейные драмы — это трагедия только для двоих, для остальных это комедия.

МАРИНА. Грустная комедия.

АНДРЕЙ. Просто забавно наблюдать всё это со стороны.

МАРИНА. Представляю, с каким удовольствием сейчас на работе пережёвывается эта сплетня.

АНДРЕЙ. Да, нашим только попади на язычок.

МАРИНА. Ничто так не интересуется ближнего твоего, как неприятности в твоей личной жизни.

АНДРЕЙ. Это любимая тема девочек.

МАРИНА. Не надо! Мужики — сплетники ещё хуже баб.

АНДРЕЙ. Не спорю. Всякие есть.

МАРИНА. И всё-таки мне её жаль. Я не знаю, как поступила бы сама в такой ситуации. Не дай Бог, конечно.

АНДРЕЙ. Переживёт. Чего только люди не переживают.

МАРИНА. Да, кто-то просто отряхнётся, а кто-то... Трудно мужу и жене работать вместе. Вся личная жизнь на виду. Даже малейшая ссора замечается и обсасывается до косточек... Противно.

АНДРЕЙ. Ну и пусть.

МАРИНА. Интересно, что о нас с тобой говорят?

АНДРЕЙ. А мне это неинтересно.

МАРИНА. Но о нас тоже сплетничают.

АНДРЕЙ. Пусть болтают. Это их проблемы.

МАРИНА. Андрюшенька... Я надеюсь, ты мне никогда такого сюрприза не преподнесёшь?..

АНДРЕЙ. С чего это ты вдруг?

МАРИНА. Так. Мелькнула шальная искра... Ты ведь у меня домашний мальчик, правда?

АНДРЕЙ. Правда.

МАРИНА. Честное слово?

АНДРЕЙ. Честное-пречестное.

МАРИНА. Смотри, Андрюшенька. Если я когда-нибудь хоть что-нибудь...

АНДРЕЙ. Исключено, ягодка.

МАРИНА. Я тебя тогда...

АНДРЕЙ. Исключено, птичка *(нежно обнимает супругу)*.

МАРИНА. Может быть, я дура, но я тебе верю.

АНДРЕЙ. Нет, ты умная... Иди ко мне...

МАРИНА. Мой барсик...

АНДРЕЙ. Моя кошечка... Моя мягкая кошечка... *(Обнимает её чуть крепче.)*

МАРИНА. Осторожно!... *(Отстраняется от него.)* Надавил на живот.

АНДРЕЙ. Извини. Я нечаянно.

МАРИНА. Он уже, наверное, всё там чувствует.

АНДРЕЙ. Нет. Ему ещё рано чувствовать.

МАРИНА. Всё равно. Аккуратней... Береги меня... Нас.

АНДРЕЙ. Буду беречь.

МАРИНА. Ты меня любишь?

АНДРЕЙ. Люблю.

МАРИНА. Вез вранья?

АНДРЕЙ. Без всякого.

МАРИНА. Конечно. Кого же тебе любить? Кто ещё тебя терпеть будет, такого вредного и противного?

АНДРЕЙ. Никто. Только ты.

МАРИНА. Ладно хоть на сторону не бегаешь. И за это спасибо.

АНДРЕЙ. Не за что.

МАРИНА. Есть за что, дорогой. Видел же сам, какие истерические припадки бывают с обманутыми женщинами.

АНДРЕЙ. У нас не тот случай.

МАРИНА. Я надеюсь... Кстати, ты помнишь, что у меня в воскресенье день рождения?

АНДРЕЙ. Неужели я могу забыть главную дату в своей жизни?

МАРИНА. И что ты мне подаришь?

АНДРЕЙ. Секрет.

МАРИНА. Ты уже приготовил подарок?

АНДРЕЙ. Можно сказать — да.

МАРИНА. Конфеты не дарить! Конфеты — только дополнение к главному.

АНДРЕЙ. Я знаю.

МАРИНА. И что это?

АНДРЕЙ. Не скажу.

МАРИНА. Ну скажи.

АНДРЕЙ. Нет.

МАРИНА. Ну пожалуйста, барсик... Я не выдержу до воскресенья.

АНДРЕЙ. Ничего. Выдержишь.

МАРИНА. Это что-нибудь необычное?

АНДРЕЙ. Необычное.

МАРИНА. Давай говори.

АНДРЕЙ. Нет. Потом будет неинтересно.

МАРИНА. Я с тобой не разговариваю... Вредина.

АНДРЕЙ. Кисонька моя...

МАРИНА. Вредина...

АНДРЕЙ. Кисонька... *(Опять привлекает её к себе.)*

МАРИНА. Нет, нет, мне надо идти.

АНДРЕЙ. Ты куда?

МАРИНА. В консультацию. Нужно пройти кое-что, и заодно узнаю результаты анализов.

АНДРЕЙ. Каких?

МАРИНА. Обычных.

АНДРЕЙ. Ты долго?

МАРИНА. Часа через полтора приду. Может, и раньше.

АНДРЕЙ. Приготовить что-нибудь?

МАРИНА. Котик, пожарь картошки. Умираю, хочу жареной картошки. С корочками. И чтобы была ещё горячая к моему приходу.

АНДРЕЙ. Договорились.

МАРИНА. Ты моя хозяйюшка... *(Целует Андрея в щёку.)*

Кабинет женской консультации. За столом сидит пожилая медсестра и что-то записывает в чью-то карточку. В кабинет заглядывает Марина.

МАРИНА. Здравствуйте.

МЕДСЕСТРА. Здравствуйте.

МАРИНА. Доктора нет?

МЕДСЕСТРА. Скоро придёт.

МАРИНА. Вы знаете, я не буду его ждать, здесь очередь...

МЕДСЕСТРА. Дело ваше.

МАРИНА. Я хотела только узнать: пришли результаты моих анализов?

Пауза.

МЕДСЕСТРА. Фамилия ваша?..

МАРИНА. Панькова.

МЕДСЕСТРА. Ещё раз?..

МАРИНА. Пань-ко-ва. У меня на ВИЧ и реакцию Вассермана.

Медсестра перебирает стопочку направлений.

МЕДСЕСТРА. Так... На ВИЧ есть... реакция Вассермана... есть. Оба результата у нас... ВИЧ у вас отрицательный, Вассерман... *(Пауза.)*

Пройдите, пожалуйста, в кабинет... Прикройте дверь... Панькова М. А.?.

МАРИНА. Да. Марина Алексеевна.

МЕДСЕСТРА. Ну что же, Марина Алексеевна, на реакцию Вассермана у вас, уж не взыщите, положительная проба.

МАРИНА. Как?!..

МЕДСЕСТРА. А вот так.

МАРИНА. Не может быть. Вы, наверное, ошиблись.

МЕДСЕСТРА. Милочка моя, я не могу ошибиться хотя бы потому, что это именно ваше направление. Если ошиблись в лаборатории, значит, претензии к ним. Но там ошибаются очень редко.

МАРИНА. Да вы что?! Этого абсолютно точно не может быть! Я замужем, у меня муж!..

МЕДСЕСТРА. Вот мужу и задайте пару каверзных вопросов.

МАРИНА. Вы не имеете права... Я — медицинский работник!..

МЕДСЕСТРА. Должна вас разочаровать, милочка. Даже медицинские работники не застрахованы от подобных казусов.

МАРИНА. Прекратите!

МЕДСЕСТРА. Панькова М. А, двадцать девять лет, направление выписано восьмого октября?

МАРИНА. Ну... да...

МЕДСЕСТРА. Тогда какие ко мне вопросы?

МАРИНА. Это безобразие!.. Я буду жаловаться!..

МЕДСЕСТРА. Думаете, вы одна такая?.. Я за свои годы здесь перевидала немало удивлённых женских глаз. А потом, после душевного разговора с мужьями, всё вставало на свои места, и дамочки уже ничему не удивлялись... Так что шуметь не надо: вас много, я одна. Если ваша очередь — присаживайтесь, если не ваша — подождите в коридоре.

Квартира Паньковых. В замочной скважине входной двери раздражённо поворачивается ключ. На пороге появляется Марина. Андрей сидит на диване и смотрит телевизор. Марина решительно проходит в комнату.

АНДРЕЙ. Что-то ты долго, матушка моя. Картошечка уже, наверное, остыла. (Пауза.) Что с тобой? (Пауза.) Случилось что-то?..

Марина подходит к Андрею. Оглушительная, тяжёлая пощечина.

МАРИНА. Свинья!!!

Андрей вскакивает с места и пятится от взбешённой супруги.

Свинья!.. Свинья!..

Марина продолжает хлестать мужа по лицу, голове, выставленным вперёд рукам. Наконец она берёт короткую паузу.

АНДРЕЙ. Ты... чего?..

МАРИНА. Чего?.. Сейчас я тебе объясню — чего!

Марина с новыми силами бросается на мужа и вцепляется ему в волосы. Андрей вскрикивает от боли и отшвыривает жену от себя.

АНДРЕЙ. С ума сошла?.. В чём дело?!

МАРИНА. Ты ещё не понял?.. Сейчас поймёшь!

АНДРЕЙ. Да погоди ты!.. Давай для начала разберёмся... чтобы я тоже был в курсе.

МАРИНА. Сейчас ты будешь в курсе!.. Сейчас ты будешь в курсе всего!

АНДРЕЙ. Я тебя чем-то обидел?

МАРИНА. Нет, что ты. Это не обида. Это совсем другое чувство. Но тоже очень сильное.

АНДРЕЙ. Я уже понял.

МАРИНА. Это только начало. Я тебе буду объяснять всё очень конкретно, имей в виду.

АНДРЕЙ. Хорошо. Только сначала словами.

МАРИНА. Сядь!

АНДРЕЙ. Ничего-ничего, я послушаю стоя.

МАРИНА. Сядь!.. И выключи эту тарахтелку!

Андрей присаживается на краешек дивана. Выключает телевизор.

АНДРЕЙ. Может, ты тоже сядешь?

МАРИНА. Я тебе сяду!.. Я тебе сейчас так сяду!

АНДРЕЙ. Хорошо, хорошо... я молчу.

МАРИНА. Сделай так, чтобы я тебя не слышала... Потому что пока буду говорить я. А ты будешь очень внимательно слушать... Очень внимательно! Понял?.. В общем, так, господин Паньков. Я была сейчас в консультации. Как ты думаешь, что мне там сообщили?.. Ну! Чего молчишь?

АНДРЕЙ. А что, уже можно говорить?

МАРИНА. Давай. Чистосердечное признание тебя всё равно не спасёт, но ты хотя бы умрёшь быстро и без мучений... Говори!

АНДРЕЙ. Мне нечего тебе сказать.

МАРИНА. Ах, нечего?

АНДРЕЙ. Нечего.

МАРИНА. Ну, тогда у меня есть что тебе сказать... Друг мой, у меня положительный результат на реакцию Вассермана.

Пауза.

АНДРЕЙ. И что?

МАРИНА. Ты понимаешь, о чём идёт речь?

АНДРЕЙ. Так... погоди... дай сообразить...

МАРИНА. Паньков, ты совсем очумел или издеваешься надо мной?!

АНДРЕЙ. Нет, я не издеваюсь, честное слово... Просто пока не понимаю, о чём идёт речь...

МАРИНА. Даю тебе десять секунд... Девять... восемь... семь...

АНДРЕЙ. Видишь ли, в стрессовой ситуации иногда забываешь даже имя хорошо знакомого человека... Что же говорить о какой-то реакции какого-то Вассермана?.. Шарики вертятся в голове, а на место встать не могут...

МАРИНА. Сейчас я им помогу!

Марина хватается за стул, поднимает над головой и опускает его на загрохот заматавшегося супруга. Андрей вырывает стул из её цепких рук и отбрасывает его в сторону.

АНДРЕЙ. Прекрати сейчас же!.. Идиотка! Ну идиотка!!..

МАРИНА. Ну что, Паньков, вспомнил, или будем работать дальше?

АНДРЕЙ. Я, конечно, вспомнил...

МАРИНА. Молодец.

АНДРЕЙ. Но это ерунда. Этого не может быть.

МАРИНА. Не может быть, говоришь?.. Да, я тоже так считала. До сегодняшнего дня.

АНДРЕЙ. Нет, это идиотство какое-то. Бред!.. И этот бред стал причиной твоего буйного психоза?.. Ты меня извини. Марина, но это смешно.

МАРИНА. Ну давай вместе посмеёмся. Мне было очень весело, когда я это услышала, и я хочу, чтобы так же весело стало теперь и тебе... Смейся, смейся, чего не смеёшься?

АНДРЕЙ. Мариша, сто процентов — ошибка.

МАРИНА. Ты ещё и проценты высчитал?.. Математик ты мой.

АНДРЕЙ. Мариша, головой отвечаю.

МАРИНА. Головой, говоришь?.. Ну-ну...

АНДРЕЙ. Абсурд... Дурость... Чепуха...

МАРИНА. Уйми уже свой праведный гнев. Скажи-ка мне лучше, ты знаешь такую особу — Панькову Марину Алексеевну?

АНДРЕЙ. Ну...

МАРИНА. Чего «нукаешь»?! Говори, знаешь или нет?

АНДРЕЙ. Мариша, хватит дурачиться.

МАРИНА. Ты всё ещё думаешь, что я дурачусь?

АНДРЕЙ. Нет, конечно. Я в смысле...

МАРИНА. Я тебе задала вопрос.

АНДРЕЙ. Мариша...

МАРИНА. Андрей, я тебя предупреждаю последний раз: со мной сейчас лучше не спорить.

АНДРЕЙ. Хорошо. Панькова Марина Алексеевна — моя жена.

МАРИНА. Правильно. Именно так. И вот у твоей жены, Андрюшенька, обнаружили...

Марина закрывает лицо руками и плачет. Андрей не решается подойти к ней.

АНДРЕЙ. Мариночка, я тебя прошу... Давай выясним всё до конца. Это явное недоразумение.

МАРИНА. Знаешь, что меня сейчас возмущает больше всего?.. Твоя наглая честная морда. *(Пауза.)* Ты понимаешь, что сегодня порушилась наша жизнь?.. Мы только что об этом разговаривали... и вот... *(Пауза.)* Ты не представляешь, как мне больно. Больно и страшно.

АНДРЕЙ. Мариша, я считаю, что...

МАРИНА. Можешь считать что угодно, но того, что было между нами, уже не будет. Конец. Как просто. В одну минуту ты можешь потерять всё. И остаться ни с чем.

АНДРЕЙ. Слушай, а там ничего не могли перепутать?

МАРИНА. А вот это я сейчас и попытаюсь выяснить у тебя.

АНДРЕЙ. При чём здесь я?

МАРИНА. А вот ты-то, милый друг, как раз здесь и при чём. И сейчас ты мне всё расскажешь, всё как есть. Врать тебе уже не имеет смысла, потому что результат твоих шалостей у меня, можно сказать, налицо... Итак, я тебя очень внимательно слушаю.

АНДРЕЙ. Мне нечего тебе рассказывать.

Пауза.

МАРИНА. Андрюша... Я тебе не изменяла.

АНДРЕЙ. Я тебе тоже.

МАРИНА. Андрей!.. Я тебе не изменяла!

АНДРЕЙ. Мариша... Я даю тебе честное слово...

МАРИНА. Плевать я хотела на твои честные слова! После того, чем меня сегодня огорошили, ты предлагаешь верить твоим честным словам?

АНДРЕЙ. Да-а... Я тебя понимаю.

МАРИНА. Ещё бы мне тебя понять, Андрей.

АНДРЕЙ. Боже мой, какая дурь! И ведь не оправдаешься...

МАРИНА. Почему? Попробуй.

АНДРЕЙ. Ты же всё равно не веришь.

МАРИНА. Если скажешь правду, поверю.

АНДРЕЙ. Обещаешь?

МАРИНА. Обещаю.

АНДРЕЙ. Так вот: я перед тобой абсолютно чист.

МАРИНА. Это и есть твоя правда?

АНДРЕЙ. Да.

Пауза.

МАРИНА. Я не собираюсь это из тебя вытягивать клещами. Имей мужество отвечать за свои поступки. Хотя бы сознаться в них.

АНДРЕЙ. Ты хочешь, чтобы я сознался в том, чего не совершал?

МАРИНА. Андрей... Ты взрослый умный человек. У тебя высшее медицинское образование. Вот подумай сам: если я тебе не изменяла, если ты мне не изменял, если мы не изменяли друг другу, мне что — венерическую болезнь ветром надуло?

АНДРЕЙ. Конечно, нет.

МАРИНА. Вот видишь, ты уже начинаешь мыслить правильно. Это хорошо. А теперь напряги память и вспомни, при каких обстоятельствах, когда и с кем ты меня нечаянно перепутал.

АНДРЕЙ. Марина... Я тебя никогда и ни с кем не перепутаю.

МАРИНА. Очень приятно слышать это от любящего мужа... Ладно. В последний раз спрашиваю: где ты мог подцепить эту заразу?

АНДРЕЙ. Нет, это какой-то сумасшедший дом!..

МАРИНА. Считаю до трёх: раз... два...

АНДРЕЙ. Господи! Да что же это, в конце концов?!

МАРИНА. Это момент истины, дорогой... Это — момент истины. И Боже тебя сохрани сейчас соврать мне! (*Пауза.*) Два уже было... Два с половиной... Ну что же!..

АНДРЕЙ. погоди, погоди!.. Только давай сначала определимся, что считать изменой.

МАРИНА. Это как?

АНДРЕЙ. Обыкновенно... Давай очертим строгие границы, чтобы не запутаться: где, собственно, начинается измена.

МАРИНА. Хорошо. Очерчивай.

Пауза.

АНДРЕЙ. Как ты считаешь, можно ли назвать изменой единичный факт мужской неверности, случившийся ещё до... обоюдного решения узаконить брачный союз?

МАРИНА. Не поняла. Повтори.

АНДРЕЙ. Вот смотри... Мужчина с женщиной познакомились, да? Живут... ну и всё такое... Но не женаты! Отношения есть, но обязательства ещё нет!.. И мужчина где-то... с кем-то... как бы... Ну, в общем... Вот это считаем изменой или нет?

Пауза.

МАРИНА. Та-ак!..

АНДРЕЙ. Марина, я просто спросил...

МАРИНА. Вот именно это я и хотела от тебя услышать.

АНДРЕЙ. Спокойно, спокойно... У нас тогда ещё было несерьёзно... Мы просто жили... И это случилось всего один раз, клянусь тебе...

МАРИНА. Вот ты, наконец, и признался, миленький... Кто?

АНДРЕЙ. Ну какая разница?

МАРИНА. Кто?

АНДРЕЙ. Да так... Ты её не знаешь... Одна моя знакомая. Зашёл случайно, и... вот.

Марина вынимает свой телефон из кармана кофты, находит абонента и вызывает.

Мариша... ничего серьёзного... всего один раз... до того, как мы с тобой...

МАРИНА *(в трубку)*. Мама, бери такси и срочно приезжай. Я сейчас буду убивать твоего зятя. *(Кладёт телефон на столик.)*

АНДРЕЙ. Ну, ей-богу, просто цирк какой-то. Из-за такой ерунды... Мариша, не нервничай, я тебя умоляю. Давай вести себя цивилизованно...

МАРИНА. Место!

АНДРЕЙ. Нет, на этот раз всё-таки давай говорить стоя.

МАРИНА. Я сказала — место!!!

АНДРЕЙ. Ну хорошо, если ты так настаиваешь, я сяду.

Андрей послушно опускается на диван.

МАРИНА. Рассказывай.

АНДРЕЙ. Что?

МАРИНА. Ты стал плохо соображать?

АНДРЕЙ. А-а... ты про это... А что тут рассказывать?

МАРИНА. Всё.

АНДРЕЙ. Я не думаю, что это будет тебе интересно.

МАРИНА. Ошибаешься.

АНДРЕЙ. Мариша, давай воздержимся от...

МАРИНА. Воздерживаться надо было в другом месте!.. Ты слышал, что я сказала?

АНДРЕЙ. Конечно, но уточни, что именно тебя интересует.

МАРИНА. Я тебе уже сказала: всё!

АНДРЕЙ. В деталях, что ли?

МАРИНА. В деталях.

АНДРЕЙ. Ну, знаешь... Может, сначала пообедаем?

МАРИНА. У меня пропал аппетит.

АНДРЕЙ. Дурацкий день какой-то.

МАРИНА. Я тебе повторяю в третий и в последний раз: рассказывай.

АНДРЕЙ. О Господи, что тут рассказывать?.. Ну... встретил однажды свою одноклассницу... Это было ещё тогда... я подчёркиваю: до наших с тобой официальных отношений...

МАРИНА. Это я уже поняла, продолжай.

АНДРЕЙ. Не перебивай меня. Я не могу сосредоточиться.

МАРИНА. Ты не нервничай, не нервничай.

АНДРЕЙ. А я и не нь... я не не... Я спокоен.

МАРИНА. Да. Я вижу.

АНДРЕЙ. Короче... С этой одноклассницей мы дружили ещё в школе...

МАРИНА. Ах, вот как!.. Интересная подробность.

АНДРЕЙ. Вообще-то в школе все дружат, если ты не в курсе... Сама, небось, тоже кому-нибудь глазки строила.

МАРИНА. Не отвлекайся.

АНДРЕЙ. Ну... встретились на улице... Давно не виделись, обрадовались встрече...

МАРИНА. Так. Ещё интереснее.

АНДРЕЙ. Разговорились... о том о сём... Она пригласила меня в гости.

МАРИНА. Она, конечно, не замужем?

АНДРЕЙ. Почему? Замужем.

МАРИНА. Паньков, ты потрясающе аморальный тип. Я тебя уже начинаю уважать как мужчину.

АНДРЕЙ. Так вот: у неё муж — подлец! Он изменяет ей. Регулярно. То есть систематически... В смысле — с каждой юбкой... И она очень страдает.

МАРИНА. Кто? Юбка?

АНДРЕЙ. Нет, моя одноклассница... Марина, ну зачем ты издеваешься? Я же по-хорошему. Ты просишь — я тебе честно говорю. Всё как на духу.

МАРИНА. Спасибо за честность. Слушаю тебя дальше.

АНДРЕЙ. Она рассказала мне о себе... Пожаловалась на мужа... Плакала... Говорила, что несчастна в личной жизни... И, как бы в расстройстве чувств, намекнула на то, что хочет мужу отомстить...

МАРИНА. «Как бы» или «намекнула»?

АНДРЕЙ. Как бы намекнула... Ну я, по крайней мере, так понял.

МАРИНА. Да, ты сообразительный, я знаю.

АНДРЕЙ. Ну... и получилось так, что я нечаянно стал орудием её мести.

МАРИНА. Вот видишь, ты ещё и благородный. Помог женщине в трудной ситуации. Протянул ей, так сказать... руку. Молодец.

АНДРЕЙ. Собственно, это всё.

Пауза.

МАРИНА. Да-а... теперь я действительно не удивляюсь результатам моего сегодняшнего анализа.

АНДРЕЙ. Это её муж... Он где-то подхватил... Скотина!

МАРИНА. Ты абсолютно прав.

АНДРЕЙ. Паскудный народец эти бабники! От них только неприятности нормальным людям!

МАРИНА. И не говори.

АНДРЕЙ. Чёрт меня дёрнул тогда с ней связаться!

МАРИНА. Да уж не переживай так. Дёрнул так дёрнул.

АНДРЕЙ. С виду такая приличная женщина.

МАРИНА. И такой неприличный результат.

АНДРЕЙ. И в семью беду принёс, и... Марина, признаюсь тебе честно: никакого удовольствия. Вот клянусь тебе: удовольствия — никакого.

МАРИНА. Что, совсем никакого?

АНДРЕЙ. Ты лучше.

МАРИНА. Спасибо.

АНДРЕЙ. Вот.

Пауза.

МАРИНА. А теперь, мой ненаглядный, вот что: скройся с глаз, чтобы я тебя не видела. По крайней мере, до прихода мамы. Я не хочу из-за тебя сидеть в тюрьме... Уйди, ради Бога, пока не поздно!

Андрей уходит.

Господи!.. Я всегда была так уверена в нём... Или в себе я была уверена, что уж со мной-то этого никогда не случится... И это — наказание за мою гордыню или за мою глупость?.. Вот тебе и надёжный домашний мальчик!.. Доверять нельзя никому. Даже самым близким людям... Даже самым домашним мальчикам. Как же тогда жить?.. Теперь я понимаю тех женщин, которые не хотят ничего знать о похождениях своих благоверных. В этом есть смысл... Слишком больно.

Звонок в дверь. Марина, задумавшись, продолжает сидеть. Звонок повторяется. Марина тяжело поднимается, подходит к двери и отпирает её. Входит взволнованная Вера Васильевна.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Господи, Боже мой!.. Что с тобой, доченька? Ты вся чёрная.

Марина молча провожает мать в комнату и усаживает на диван.

Что-то случилось?.. Серьёзное?

МАРИНА. Серьёзное.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Доча...

МАРИНА *(в кухню)*. Иди сюда!

Несмело входит Андрей.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ребята, что произошло?

МАРИНА. Вот. Полюбуйся на своего любимого зятя.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Андрюша... Что такое, скажи мне?

МАРИНА. Ну, скажи уж, раз тебя просят, сделай одолжение.

АНДРЕЙ. Не могу.

МАРИНА. Ты даже этого не можешь.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Деньги, что ли, потеряли?

МАРИНА. Хуже.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Не пугайте меня.

МАРИНА *(Андрею)*. Это мне надо произносить?.. Хорошо.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Доченька, у меня слабое сердце, ты же знаешь.

МАРИНА. Крепись, мама. Найди силы выслушать это... и принять...

В общем, так: твоя дочь заражена сифилисом.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Господи!!!

Марина перестаёт быть грозной фурией и превращается в несчастного, беспомощного ребёнка. Протянув руки к матери, подходит к ней и, по-детски утонув в её объятиях, начинает безутешно рыдать. Вместе с ней плачет сражённая Вера Васильевна.

МАРИНА. Вот, мама... Думала ли ты когда-нибудь, что твоя дочь докатится до такого позора? И что доведёт её до этого собственный муж, за которого, кстати, ты мне так настойчиво советовала выйти замуж? Говорила что он хороший, что он такой, что он сякой, а он видишь какой?.. Спасибо тебе, мама. Зачем я, дура, тебя послушалась?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Доченька, откуда такое дикое известие?

МАРИНА. От верблюда, мама!.. Ты не знаешь, что я сдаю все анализы? На всякую гадость!..

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. И что?

МАРИНА. Вот именно то, что я тебе сказала.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Маришенька, а там не могли ошибиться?..

АНДРЕЙ. Я тоже так предположил...

МАРИНА. Тебе кто давал слово?.. Слово тебе кто давал?!.. Нужно было предполагать раньше!.. Защитник обиженных. Посмотрите на него... Само раскаяние: бровки домиком, глазки виноватые... Кто бы мог подумать про него?.. Это ты мне такой подарок приготовил на день рождения?!.. Очень приятно! Спасибо, родной.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Погоди, доченька, может, тут как-нибудь надо разобраться?..

МАРИНА. Я уже разобралась.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Надо выяснить.

МАРИНА. И выяснила всё.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Что же оказалось?

МАРИНА. Как — что?.. Он меня заразил.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ну, может быть, всё-таки не он?

МАРИНА. Мама, ты сама поняла, что сказала?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Прости, доча... Я не подумавши.

МАРИНА. Или это теперь передаётся при чихании?.. Нет уж! Он сознался сам! Он изменил мне. Какая-то проститутка наградила его, он — меня, я — ребёнка!

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Андрюша... Как же так?

АНДРЕЙ. Я объяснил Марине. Это не было изменой. Это случилось до наших серьёзных, официальных отношений.

МАРИНА. Но мы уже жили вместе! Какие тебе ещё нужны были официальные отношения?!

АНДРЕЙ. Ну... жили.

МАРИНА. Вот видишь! Он это делал как раз в тот момент, когда ты мне расписывала, какой он хороший.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Андрей... Я этого не ожидала.

АНДРЕЙ. Конечно. Сейчас все шишки на меня.

МАРИНА. А на кого?.. На кого?!

АНДРЕЙ. Я откуда мог это знать?.. Если бы я знал...

МАРИНА. В следующий раз требуй от своих баб справку от венеролога!.. Если, конечно, эта твоя история не выдумка и не очередное враньё.

АНДРЕЙ. Я тебе никогда не врал.

МАРИНА. Да уж! Я сегодня убедилась в этом.

АНДРЕЙ. Всё, что я тебе рассказал, правда.

МАРИНА. Я уже не верю тебе, дорогой друг. Ты навсегда вышел у меня из доверия.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Андрей... ну это, конечно, нехорошо с твоей стороны. Только поженились — и вот на тебе! Это же никому не понравится.

АНДРЕЙ. Я виноват.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Хоть признаётся, это уже хорошо.

МАРИНА. Да уж куда лучше... Что будем делать?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Раз такие дела, ребята, то надо лечиться. Сейчас это лечится. Не то что раньше. Сейчас это пустяк.

МАРИНА. Хороший пустяк!.. *(Андрею.)* Что прижался к стеночке? Сам-то понимаешь, что это может повлиять на здоровье ребёнка? Про себя я уже не говорю, я — ладно, но ребёнок!.. А если он родится неполноценным?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Боже мой, доченька, что ты такое говоришь?

МАРИНА. Я говорю то, что вполне может быть!.. Ведь это крест на всю жизнь. Страдания ребёнка ничем не искупишь. Твоя шалость может обернуться для него трагедией.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Доченька, не говори так, всё будет хорошо.

МАРИНА. Хорошо уже не будет никогда! Это такое пятно, которое ничем не смоешь.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Как-то надо улаживать, ребята. Всякое бывает.

МАРИНА. Ты покалечил жизнь не только себе, но и мне, и ребёнку!.. Господи... Всё это ведь обязательно станет известно на работе. Сплетни разносятся со скоростью света. Вот будет радости кому-то

пошущукаться, позлословить. Не успели зарегистрироваться — и уже дружной семьёй в венерический диспансер! Два врача!.. Два голубка!.. Ну, это славный подарок нашим кумушкам!.. О моём позоре будут знать все. И никуда не убежать от этого!.. Какой стыд! Боже мой, какой стыд!

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Доченька, девочка моя... Я всё понимаю. Ты права, конечно, это очень обидно... это просто совершенное безобразие, Андрей, с твоей стороны... Но посмотри на него... Он раскаивается... Он уже двадцать раз пожалел о сделанном... Он как последний двоечник у школьной доски, и с этого урока ему не сбежать... Ты меня извини, Маришенька, но мне его даже немножечко жалко...

МАРИНА. Ладно, хватит!.. Андрей! Завтра я подаю заявление о разводе.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Нет!!

МАРИНА. Да!!.. Да! С этим человеком жить я не буду.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Миритесь... Как-нибудь, но миритесь. Пожалуйста.

АНДРЕЙ. Я не против.

МАРИНА. Зато я против!.. Всё, это моё окончательное решение.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Боже мой... Только не это...

МАРИНА. А сейчас, Андрей, я тебя очень прошу, исчезни куда-нибудь подальше: на кухню, в ванную, в туалет... Уйди. Я не могу тебя видеть.

Андрей уходит.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Доченька, ты с ума сошла!

МАРИНА. Нет, не сошла.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. А я говорю, сошла.

МАРИНА. Я не буду с ним жить.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ты что, молоденькая девочка, чтобы мужиками разбрасываться? Тебе уже скоро тридцать. Подумай об этом.

МАРИНА. У меня было время обо всем подумать. Моё решение ты знаешь.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Это ты сгоряча.

МАРИНА. Мама, не дави на меня.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Да ты совсем обалдела что ли? Хочешь одна остаться на старости лет?.. Ребёнок ещё не родился, она уже сиротит его! И говорит: не дави. Буду давить! Буду!

МАРИНА. Говори что хочешь.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Маринка, одумайся!

МАРИНА. Маринка уже давно взрослый человек. И сама отвечает за свои поступки.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Взрослый человек сначала думает, а потом принимает решение.

МАРИНА. Всё, мама, не кипятись.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Нет, вы только посмотрите на неё!.. Принцесса! До двадцати семи сидела дома, не могла замуж выйти, всё перебирала мужиков: один не тот, второй не этот! У меня вся душа за тебя изболелась! Думала: когда же у дочери жизнь наладится? Годы-то уходят, жизнь — как речка, и чем старше, тем быстрее течение. Богу за тебя молилась, сколько слёз пролила. И вот, наконец, встретила хорошего человека, ещё и врач к тому же, как и ты, — чего не жить?.. Меня-то хоть пожалей. У меня ведь сердце. Я не выдержу того, что дочка из-за какой-то ерунды порушила себе жизнь.

МАРИНА. Ничего себе ерунда. Спасибо, мама.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Конечно, ерунда! Бабе четвёртый десяток затикает, а она наивная, как школьница... Ты думаешь, другой у тебя будет лучше?.. Ага! Блажен, кто верует. Вот попадётся такая же свинья, как твой папашка!..

МАРИНА. Папа?..

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Вот тебе и папа! Это для тебя он папа и эталон, а для меня... Сколько крови он мне попортил этими своими бабами! Сколько я наплакалась и настрадалась из-за него! Так же однажды принёс мне заразу... Не такую, конечно, но тоже пришлось лечиться. И всё это продолжалось до тех пор, пока не прогнала его к чёртовой матери!

МАРИНА. Вот видишь, ты же не выдержала.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Так это было сколько раз?!.. А у тебя единичный случай! Единичный!

МАРИНА. А мы и живём ещё всего ничего.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Но Андрей другой человек! Понимаешь, другой!.. Я это чувствую. Я вижу. Ну, споткнулся человек, упал не туда, куда надо, так ты подними, отряхни его, а не добивай окончательно. Всё равно же будете вместе жить, что бы ты ни говорила.

МАРИНА. Жить с ним я не буду, и не надейся.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ну дура!.. Что я могу тебе сказать?.. Дура!

МАРИНА. Пусть.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Потом пожалеешь... Мужик может из семьи уходить в никуда, женщина — не имеет права! Он найдёт себе, она — неизвестно. Думаешь, на тебя так все и клюнут, как останешься одна?.. Ну, симпатичная, ну и что из этого? Сколько таких симпатичных на улицах? И что, все при мужиках?.. Нет. Дал Бог

мужа — держись за него, а не кобенься при каждой его выходке... Конечно, у него свой нрав. Но ещё неизвестно, какие фортели ты преподнесёшь ему в вашей совместной жизни... Надо прощать, доченька. Надо уметь прощать.

МАРИНА. А почему ты не простила отца?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Потому что была такая же дура, как и ты сейчас!

МАРИНА. Так, а я в кого?.. В тебя. Я тоже не могу простить предательства.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ты же ещё не пробовала.

МАРИНА. Знаю, что не смогу.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. А вдруг?..

МАРИНА. Мама!.. Если человек предал тебя однажды, он будет это делать постоянно. Прощай ему или не прощай, эта ниточка надолго. Конец ей придёт только в немощной старости. Это мне всю жизнь терпеть?!.. Я одного раза не могу вынести... Как представляю себе эту картинку, когда он с ней!.. Просто представляю!.. Какая мерзость!

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. А ты не представляй... Ничего же не стёрлось. Всё при нём.

МАРИНА. Мама, прекрати сейчас же!.. Мало того, что он вымотал мне все нервы, ещё и ты начинаешь крутить мозги! Совсем меня добить хочешь?.. Моя нервная система уже до предела истощена. Понимаешь — до предела!.. И так мучиться при каждой его измене?!.. Зачем мне это надо?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Все так живут.

МАРИНА. А я не буду!

Пауза.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Смотри сама, доченька. Я уже не знаю, как тебя убеждать. Ты действительно взрослый человек... Переспи с этой бедой, потом хорошо подумаешь и примешь решение.

МАРИНА. Решение я уже приняла, и оно бесповоротно.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Не торопись, доча.

МАРИНА. Он изменил мне, и я не смогу этого забыть. Нет, не смогу... Всё. Окончательно. Развод.

Кабинет женской консультации. И вновь за столом только медсестра, что-то куда-то записывающая. В дверь робко заглядывает Марина.

МАРИНА. Доктора нет?..

МЕДСЕСТРА. Скоро будет... А-а, это вы?.. Пройдите в кабинет.

Марина входит и прикрывает дверь.

МАРИНА. Здравствуйте.

МЕДСЕСТРА. Здравствуйте, здравствуйте... Как настроение?

МАРИНА. Прекрасное.

МЕДСЕСТРА. Так... Напомните мне, пожалуйста, фамилию?..

МАРИНА. Панькова.

МЕДСЕСТРА. Панькова или Пенькова?

МАРИНА. Пань-ко-ва.

Медсестра внимательно рассматривает два листочка направлений.

МЕДСЕСТРА. Ну, всё правильно... Я вас вчера перепутала. Сказала вам не тот результат.

МАРИНА. Как?..

МЕДСЕСТРА. Как, как?.. Вот так! Перепутала вас с Пеньковой М. А. Вы — Марина Алексеевна?..

МАРИНА. Марина... Алексеевна...

МЕДСЕСТРА. Ну вот. А она — Мария Александровна. Инициалы одни и те же. Разница в фамилиях только в одной букве. Ей тоже двадцать девять. Направление писала не я. У Пеньковой «е» написано как «а». Когда я разобралась, вы уже ушли.

МАРИНА. Значит?..

МЕДСЕСТРА. Нет, у вас всё в порядке.

МАРИНА. Может, пересдать анализ?..

МЕДСЕСТРА. В этом нет необходимости. Не беспокойтесь.

МАРИНА. Спасибо.

Пауза.

МЕДСЕСТРА. Не обижайтесь, милочка, медсестра тоже человек. Она имеет право на ошибку... Головёнку-то своему вчера нашампунила?

МАРИНА. Так... Слегка...

МЕДСЕСТРА. Правильно. Это им никогда не помешает. Для профилактики... Ладно, сядь, посиди, а то упадёшь. Сейчас доктор придёт.

Квартира Паньковых. Неприступный Андрей смотрит телевизор. Смущённая Марина сидит рядом.

МАРИНА. Представляешь, даже не извинилась. Ну хотя бы ради приличия сказала бы, что так и так, виновата... Нет! Как будто ничего не случилось. Так, что-то пробормотала про свои права. Надо же, какие чёрствые люди... Ещё улыбалась, шутила. Нам тут было не до шуток. У нас семья чуть не распалась. Я ведь уже действительно собиралась подавать заявление... Слава Богу, что всё утряслось. Просто свалился камень с души, страшный, тяжёлый камень. Теперь у нас всё будет хорошо... *(Пауза.)* Ну хватит дуться, Андрюша.

Сколько можно?.. Да, я виновата, но ведь и меня понять можно. Такой оглушительный удар!.. Вот я и сорвалась.

АНДРЕЙ. Теперь ты это возьмишь за правило: чуть что — хлестать меня по физиономии?

МАРИНА. Ну прости меня, пожалуйста. Я ведь раскаиваюсь. Конечно, нужно было разобраться, но, согласишься, в такой ситуации трудно сохранить хладнокровие... Обиделся?

АНДРЕЙ. Обиделся.

МАРИНА (*глядит мужа по голове*). Бедненький мой... Ладно, не обижайся.

Звонок в дверь.

Это мама... Я сейчас.

Марина подходит к двери и выпускает Веру Васильевну.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ну как он?

МАРИНА. Пасмурный.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. А ты чего хотела?.. Так обидеть мужика!

МАРИНА. Не говори. Самой неудобно.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ладно. Не переживай. Уладим.

МАРИНА. Что у тебя в пакете?

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Трубка мира... Веди к нему.

Вера Васильевна и Марина проходят в комнату.

Здравствуй, Андрюша.

АНДРЕЙ. Здравствуйте.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ну как вы тут?

АНДРЕЙ. Нормально.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Ну и хорошо, что нормально. Поругались, и будет.

Надо теперь собирать то, что разбросали сгоряча. А это ещё не поздно. Всё можно склеить, было бы желание. Ваша жизнь только начинается, надо уметь прощать друг другу. Согласны?.. Нет?

АНДРЕЙ. Да... Конечно.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Вот и молодцы. А я вам принесла бутылочку шампанского да кое-что из продуктов. Сейчас быстренько соберу обед: посидим, отметим мировую... Никто не против?

МАРИНА. Никто, никто... Мама, иди на кухню.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. Всё, всё, всё... Ухожу.

Вера Васильевна уходит. Пауза.

МАРИНА. Ладно, Андрюшенька, давай мириться...

Пауза.

АНДРЕЙ. Давай.

МАРИНА. Прости меня, дорогой...

АНДРЕЙ. И ты меня тоже.

МАРИНА. Да ладно... Ты-то тут при чём?

АНДРЕЙ. Я тоже молодец.

МАРИНА. Не будем вспоминать.

АНДРЕЙ. Не будем.

МАРИНА. И тем более не будем ссориться по пустякам.

АНДРЕЙ. Не будем.

МАРИНА. Всё плохое ушло?..

АНДРЕЙ. Конечно.

МАРИНА. Ты меня ещё любишь?

АНДРЕЙ. Люблю. Очень сильно.

МАРИНА. Честное слово?

АНДРЕЙ. Честное-пречестное.

МАРИНА. Котик, ты у меня самый лучший!

И Марина нежно обнимает любимого супруга.

ЗАНАВЕС

Наталья Калеменова

Война гремит на Енисее

11 ноября 2018 года — 100 лет со дня окончания Первой мировой.

В тылу

«Кричали женщины: ура! — и в воздух чепчики бросали...» Как ни странно, но это очень похоже на то, как отнеслись в высшем свете к подписанию Николаем II манифеста об объявлении войны 20 июля 1914 года. В этот день, вернувшись из Зимнего дворца, он записал в дневнике: «При возвращении дамы бросились целовать руки и немного потрепали Аликс и меня». В столице с большим подъёмом проходили патриотические шествия. В глубинке народ был более сдержан. Однако в целом по России в воинские присутствия явилось девяносто шесть процентов призывников. Это воспринималось как объединение народа вокруг царя. Пройдёт немного времени, и никакого объединения народа вокруг царя не будет. Да и самого царя уже не будет...

Автомобильная повинность

О том, что на войну «мобилизовывали» лошадей, известно всем. А вот военно-автомобильная повинность — факт малоизвестный. Автомобили, согласно циркуляру от 7 августа 1914 года, следовало предоставить на специальный сдаточный пункт, где «все самодвижущиеся экипажи должны быть зачислены в особую реестровую книгу». Автомашины сдавали за вознаграждение, размер которого определяла приёмная комиссия. Как гласил циркуляр, «шофёры являются не на сборные пункты воинских начальников, а прибывают с экипажами на сдаточные пункты — считаются с этого времени принятыми на военную службу, равно как и владельцы».

В то время в Красноярске было совсем немного автомобилей: у Гадаловых, Даниловых, ещё у нескольких состоятельных горожан. Некто Зубов, а позднее Ельденштейн пытались организовать в Красноярске «автомобильное пассажирское движение» от вокзала до Старобазарной площади. Владелец гостиницы «Россия» использовал даже омнибус для доставки пассажиров, желающих остановиться в его гостинице. Словом, немного автомашин в Красноярске всё-таки имелось. Как проходила служба шофёров и владельцев автомобилей — сведений об этом не удалось найти. Логично предположить, что на фронте они находились в распоряжении штабов различных воинских подразделений.

Война затягивалась, и отношение к ней стало меняться. Поубавилось охотников — так называли тогда добровольцев, которых в первые месяцы войны было очень много. Появилось немало уклонистов — тех, кто, говоря современным языком, старался любыми путями «откосить» от призыва в действующую армию. Особенно резко выразили своё нежелание отправляться на фронт запасные — это были люди в возрасте до сорока пяти лет, в положенный им срок отслужившие в армии и находившиеся в запасе. В сёлах Абаканском, Усть-Ербе, Батени и других сёлах Минусинского уезда произошли крупные выступления запасных, которые выразились, как писал помощник начальника губернского жандармского управления, «во всевозможных видах бесчинства, непослушании сельской и полицейской власти» и сопровождалась разгромами винных лавок. Подобные стихийные выступления прошли по многим губерниям. Против взбунтовавшихся запасных были направлены карательные отряды. Напутствием им стали слова: «В случае беспорядков и необходимости надо стрелять не по звёздам».

Людские ресурсы истощались быстро. В декабре 1916 года правительству пришлось пойти на вынужденные меры — начать мобилизацию неблагонадёжных — тех, кого в самом начале войны принудительно переселили в Сибирь. Делалось это согласно «Правилам военного положения». Мобилизация не обошла и политических ссыльных, которых в Сибири было немало. Так, в числе потенциальных призывников в Ачинск был доставлен Иосиф Джугашвили, отбывавший ссылку в деревне Курейка Туруханского края. Но на фронт будущий вождь и по совместительству отец всех народов так и не попал из-за травмы руки, полученной ещё в детстве.

Однако многие его соратники по партии оказались на фронте, где успешно продолжили борьбу, начатую ещё в ссылке. А боролись большевики за поражение России в этой войне. «Не в поражении Германии, а в победе над злейшим и опаснейшим врагом — царизмом — заинтересованы русский пролетариат и русская демократия», — так объясняли большевики свою позицию пораженцев. На фронте они довольно успешно разлагали армию изнутри. И очень скоро дезертиры стали чувствовать себя чуть ли не героями.

Бдительность или шпиономания?

С началом войны с Германией ненависть ко всему немецкому неудержимой волной захлестнула Россию. Громили магазины, владельцами которых были немцы. На улицах бдительные прохожие хватали людей, посмевших заговорить по-немецки. Деятели искусства выражали ненависть доступными им средствами. В театрах отменяли исполнение произведений, написанных немецкими композиторами. Наш великий земляк В. И. Суриков, человек вспыльчивый, взрывной, уничтожил портрет немки Софии Келлер — подруги дочери. И его

ничуть не остановило то, что этот портрет считали очень удачным, его сравнивали по стилю с работами Моне.

Уже в первые дни войны был принят закон о переименовании населённых пунктов, имевших немецкие названия. Так Петербург стал тогда Петроградом. На всей территории огромной России стали заменять немецкие названия на русские. Коснулось это и Енисейской губернии. К примеру, немецкий посёлок Гнадендорф («благодатная деревня»), возникший в Минусинском округе в ходе Столыпинской реформы, переименовали в село Николаевку.

Доходило до того, что наиболее ярые «патриоты» предлагали для российских немцев установить особую форму одежды с надписью «Подлец». Это чтобы каждый истинный «патриот» мог плюнуть «немцу в харю». Подобными призывами подпитывалась ненависть к немцам, превратившаяся в настоящую германофобию.

Летом 1915 года были закрыты магазины Торгового дома «Зингер» сначала в Красноярске, а затем в уездных городах, в том числе в Минусинске (магазин находился в здании, где сейчас размещается городская администрация). Из газет стало известно, что там производятся обыски.

Как всегда, нашлись люди, знающие всё обо всём. «Я же говорил, шпионы там окопались. Все немцы такие — кайзерово племя», — говорили они.

Так думали тогда многие. Раз немец — значит, непременно шпион. Доставалось даже эстонцам и латышам, жившим в Сибири, — к ним стали относиться с подозрением и неприязненно. Известны случаи, когда представители их общин обращались в редакции газет с просьбой дать в газете разъяснение, что они вовсе не немцы и не имеют никакого отношения к Германии.

Но при чём тут был Торговый дом «Зингер»? «Зингер» — это же была (и есть) американская компания, основанная Айзеком Зингером, который изобрёл удивительную по надёжности швейную машинку. Да, это так, но компания имела офис в Германии и через него активно осваивала российский рынок, даже построила в Подольске огромный завод, где выпускали знаменитые на весь мир швейные машинки. На нём работало более пяти тысяч человек. Что же искали в минусинском и других магазинах Торгового дома «Зингер»? Документы, обличающие сотрудников фирмы в шпионской деятельности в пользу Германии. Обыски шли во всех магазинах фирмы на территории России, а их было более пятисот.

Началось всё с обыска в центральном российском офисе, находившемся в Петербурге на Невском проспекте. Особое подозрение вызвали опросные листы, которые заполняли многочисленные коммивояжёры фирмы при оформлении договоров на приобретение швейных машинок. В опросные листы вносили подробные сведения о количестве жителей в населённом пункте, коммуникациях,

наличии промышленных объектов, отделений связи и другую статистическую информацию, которую при обобщении можно использовать для проведения стратегического анализа. В газетах сообщалось, что найдены были также договоры, согласно которым некоторые сотрудники фирмы обязывались предоставлять информацию в немецкую разведку.

Какой переполох в столице вызвали обыски в офисе «Зингера» и последовавшие затем аресты! Однако, вопреки ожиданиям, фирма «Зингер» в Петербурге не была ликвидирована. Но закрыли все магазины фирмы, многие из которых к тому времени уже пострадали от погромов, учинённых толпами возмущённых людей.

Вскрывались и другие, подчас просто поразительные факты. Шла война с Германией, а в это время в приёмных разных ведомств без особой утайки собирали деньги на подводные лодки для... немецкого флота. Каково?! В газете «Отклики Сибири» красноярцы читали информацию такого рода: «Земский начальник Камышинского уезда 4-го участка г. Гефер во время мобилизации, когда должно было проявить усиленную энергию, скрывался. Гефер по распоряжению из министерства внутренних дел от должности устраниён».

Всё это вместе взятое ещё больше усиливало нетерпимость по отношению к немцам и побуждало власть действовать. В 1916 году был принят закон «против засилья немцев». В апреле 1917 года планировалось выселить как «внутренних врагов» всех немцев из Поволжья, куда они были приглашены ещё Екатериной Великой. Однако выполнение закона откладывалось из-за революционных событий в России. Произошли сначала Февральская, затем Октябрьская революция. А потом долгое время, вплоть до Второй мировой войны, о переселении немцев не вспоминали.

Но много немцев-мужчин было переселено в Сибирь ещё летом 1914 года в числе тех, кого подвергли высылке как неблагонадёжных. Из пятидесяти тысяч человек, выселенных тогда, тридцать тысяч были этнические немцы.

БЕЖЕНЦЫ

Волна беженцев из западных губерний России докатилась до Сибири к осени 1915 года. Это было тревожное, но ожидаемое событие. До этого в течение двух месяцев шла массовая перевозка беженцев с фронтовой полосы во внутренние регионы страны, для чего понадобилось более ста пятнадцати тысяч вагонов. Речь шла о более чем трёх миллионах человек, оставшихся без крыши над головой, без средств к существованию. Закон «Об обеспечении нужд беженцев» был принят, как бы вдогонку начавшемуся стихийному передвижению людских масс, лишь 30 августа 1915 года, когда толпы беженцев уже давно двигались бесконечной чередой по дорогам, мешая передвижению войск, забывая железнодорожные вокзалы.

На местах, не дожидаясь принятия этого закона, создавали общественные организации для оказания им помощи. В Красноярске был организован комитет помощи беженцам, председателем которого стал инженер путей сообщения Станислав Антонович Жбиковский. При комитете действовало несколько секций: квартирная, вокзальная, продовольственная, школьная, врачебно-санитарная.

В уездах тоже создавали такие комитеты. В Минусинском архиве сохранился протокол заседания городской Думы Минусинска от 12 октября 1915 года под председательством городского головы Павла Александровича Бахова. В город прибыло одиннадцать семей из различных губерний России, «пострадавших от военных действий». В общей сложности — пятьдесят четыре человека. Десять семей разместили в здании старой больницы. Для одиннадцатой подходящего места не нашлось, её приютил в своём доме один из минусинцев.

«Положение прибывших беженцев очень тяжёлое из-за отсутствия средств; оно осложняется ещё и тем, что трудоспособные члены семейств беженцев не всегда могут подыскать постоянной работы, хотя большинство их является чернорабочими, готовыми на всякую работу», — записано в протоколе. Первоначальные средства на самое необходимое для беженцев предполагалось получить «частью путём благотворительных сборов и частью от города». Принятый закон предполагал выдавать средства из казны на содержание новых беженцев.

Уполномоченный по делам беженцев в Сибири телеграфировал:

«В Енисейскую губернию беженцы будут направлены в самом крайнем случае. Пока заселяются Алтайский округ — 115 000 беж. и Томская губерния — 30 000 беж. Но на случай исключительного наплыва беженцев в Сибирь предлагается выяснять, сколько беженцев может вместить Енисейская губерния, с указанием подробно по волостям и по селениям.

В настоящее время в Енисейскую губернию идут только те беженцы, которые имеют приглашения от родственников, проживающих здесь. И кроме того, беженцы, едущие дальше на восток. Для последних необходимо организовать питательный пункт».

ВОЕННОПЛЕННЫЕ

Ой ты, юбка моя,
Юбка узкая!
Мой милёнок — австрияк,
А я — русская!

Говорят, эту задорную частушку в войну напевали барышни в Красноярске — там находились военнопленные немцы и австрийцы.

В ходе войны в русский плен попало больше двух миллионов австрийцев, немцев, чехов, словаков, мадьяр, турок. Их распределили по лагерям в разных губерниях. В Красноярске пленных расположили

в военном городке. Города, где находились военнопленные, в том числе Красноярск, посетила делегация от Красного Креста, признавшая, что военнопленным «живётся весьма удовлетворительно».

О том, как они жили, можно судить по статье «У военнопленных», опубликованной в газете «Отклики Сибири» 9 января 1915 года, то есть через полгода после начала войны. Вот несколько фрагментов из этой статьи:

«Всего за время войны в Красноярск было прислано около 20 000 военнопленных, но часть их, преимущественно славяне, была направлена в Омск и на восток. Теперь в городке находится 7 770 пленных, в том числе 316 офицеров, 24 военных врача и 10 или 12 зауряд-врачей.

<...>

Все пленные разделены на 4 группы. Во главе каждой группы стоит начальник, назначаемый заведующими военнопленными из старших пленных офицеров.

<...>

Наблюдение за распорядком на кухне возложено на самих пленных: они получают мясо, приправы, сами варят себе пищу, сами распределяют её и сами же поддерживают чистоту и порядок на кухне.

<...>

Пища пленных — обычная солдатская: щи или суп с $3/4$ ф. мяса ($1/2$ на обед и $1/4$ на ужин), каша, чай с чёрным хлебом, которого выдаётся по три ф. на человека (ф.— обозначение фунта — 408,5 грамма.— *Прим. авт.*). Кроме супа, мяса и хлеба, пленные получают также сахар и чай в размере солдатского пайка».

Судя по этой статье, пленных кормили довольно хорошо и не утруждали никакой работой. Но очень скоро безделью пленных положили конец. В апреле 1915-го Енисейский губернатор Я. Г. Гололобов получил телеграмму из Главного управления Генштаба, в которой говорилось о «необходимости привлечения военнопленных к работам». С этого времени их стали широко использовать в самых разных отраслях хозяйства. Владельцы предприятий, шахт и приисков спешили заполучить дешёвую рабочую силу. Это позволило им снизить расценки при оплате труда, получать побольше прибыли. В Минусинском округе военнопленные работали на медных рудниках «Улень» (четыре-стать семьдесят человек) и «Юлия» (шестьсот-семьсот). Использовались они и на строительстве железной дороги «Ачминдор».

Благодаря хлопотам представителей Красного Креста у военнопленных со временем появилась возможность получать с родины посылки и денежные переводы. Многие из них жили сытно, вольготно, не особо утруждая себя работой, а нередко и вовсе отказываясь от неё.

Совсем в других условиях содержались в плену русские военнопленные. Исследователи приводят в публикациях факты использования пленных солдат и офицеров русской армии в качестве мишеней и расстрелов просто ради забавы. По сведениям Красного Креста, всего в плену находилось более 2 200 000 русских. В Германии — 1 317 000 человек — каждый шестой пытался бежать. К концу войны в Германии, истощённой войной, население получало по карточкам капустные кочерыжки. Там уж было не до пленных — они просто голодали. Особенно трудно жилось русским: они питались объедками французов и англичан, получавших посылки и денежные переводы. В Россию многие русские смогли вернуться из плена три-четыре года спустя после окончания войны. Добирались до дома пешком: заботиться об их возвращении на родину было некому. Их оставили на произвол судьбы.

Мы знаем, сколько бед в годы Гражданской войны принесли бело чехи — военнопленные, вошедшие в состав Чехословацкого корпуса. С неслыханной жестокостью они проводили карательные экспедиции в Сибири против красных партизан и мирных жителей. Но известны и другие примеры. Ярослав Гашек, автор романа «Похождения бравого солдата Швейка», попав в русский плен, проникся революционными идеями большевиков. Он поддержал Октябрьскую революцию, вступил в ряды Красной Армии. Вместе с Мате Залкой Гашек выпускал венгерско-немецкую газету, которая помогала бывшим пленным правильно сориентироваться в ситуации. В Красноярске Гашек снова оказался в плену, но на этот раз в плену неотразимого обаяния сибирячки, на которой он и женился.

Случаи женитьбы бывших военнопленных на сибирячках были нередки. Женившись, некоторые принимали решение не возвращаться на родину, а остаться в Сибири. Думаю, они не раз потом горько пожалели об этом. Судите сами. Австриец Вильгельм Дигрубер сначала попал в плен на фронте. Потом воевал на стороне белых и был взят в плен на Гражданской войне — совершенно чужой и непонятной для него. Наконец, обрёл пристанище и семейное счастье в Сибири. Принял советское подданство. Работал в Минусинске мастером-колбасником в промышленной артели имени Молотова. Жизнь вроде наладилась. Но грянул 1937 год... Не надо быть провидцем, чтобы догадаться: Дигрубера «назначили» агентом иностранной разведки. Арест, расстрел...

У многих бывших военнопленных судьбы так похожи, словно кто-то неведомый написал их под копирку.

...И РАЗВЕЛИ РУКАМИ

С началом войны по всей России создавались Военно-промышленные комитеты (ВПК), которые имели предпочтительное право получать правительственные заказы на поставку снаряжения для армии. Создан был такой комитет и в Енисейской губернии. Когда читаешь протоколы заседаний этого комитета, напрашивается вопрос: в комитете

старались найти способы наладить производство чего-то нужного для фронта или занимались поиском объяснений, почему это невозможно?

Сначала в комитете рассуждали о возможностях выпускать «дистанционные трубки, зарядные ящики, ручные гранаты». Но выяснилось, что это невозможно: в губернии нет ни станков, ни специалистов, ни металла нужного качества. Потом долго обсуждали, можно ли на Абаканском железодельном заводе выпускать колючую проволоку для военных нужд. Можно, но завод находится слишком далеко от железной дороги. В губернии было немало кустарных мастерских по пошиву полушубков, рукавиц, изготовлению валенок. А в этом как раз нуждались солдаты на фронте. Но оказалось — нет кожевенного сырья и шерсти, их скупают бессовестные спекулянты и баснословно наживаются на этом. И так — чего ни коснись.

В Иркутске уже наладили выпуск снарядов, а в Красноярске всё обсуждали предложения добывать глауберову соль из воды минусинских самосадочных озёр; делать поташ, для чего собирать повсеместно золу; извлекать йод из воды Плотбищенского озера около Енисейска; скупать полотно по деревням, а в Минусинском уезде — изделия из кожи и войлока. Как говорится, собрались, поговорили и... развели руками.

Не знаю, какой же всё-таки правительственный заказ получил Енисейский ВПК и какая сумма на его выполнение поступила от казны. Но известно, что правительство «вкачало» в Центральный ВПК и его двести двадцать местных комитетов на казённые заказы баснословные деньги — четыреста миллионов рублей. А к началу 1917 года была реализована только половина правительственных заказов. Почему не были выполнены остальные, и куда делись казённые деньги? Спрашивать об этом уже стало некому и не с кого. В России, вовлечённой в революционный водоворот, началась кровавая смута. Страна неслась к бездне...

Первая мировая война, в которой участвовало тридцать восемь стран, продолжалась четыре года и три месяца. Погибли десять миллионов человек, двадцать миллионов получили ранения или были отравлены ядовитыми газами. Закончилась эта война, самая кровавая и жестокая, как тогда казалось, 11 ноября 1918 года. Утром этого дня было заключено перемирие между странами Антанты и капитулировавшей Германией.

К этому времени большевики, пришедшие в России к власти, уже заключили с Германией грабительский Брестский мир. Россия, несшая самую большую тяжесть этой войны, теперь не имела отношения к победе в ней. Мир, воцарившийся наконец в Европе, для России так и не наступил. Впереди у неё была военная интервенция бывших союзников по Антанте и врагов, рвавших страну на клочья. И самое страшное — Гражданская война.

Ольга Немежикова

Зелёная весна. Заповедник «Столбы»

За голой весной (см. «Енисей» №1/2018) следует весна зелёная — самая стремительная в своих метаморфозах, самая короткая. Этот фенологический период в заповеднике «Столбы» длится тринадцать дней, с 22 мая по 3 июня. Массово прилетают птицы. Бурно идут в рост листья и травы, лишь почки осины ещё не распускаются. Ночные заморозки в это время обычны. Полностью отцветают эфемеры (первоцветы) — подснежники, хохлатки, ветреница алтайская, зато в изобилии радуют весенние цветы, среди которых самые яркие, самые нарядные — марьин корень и жаркí. Каскады цветущей черёмухи уступают белоснежную эстафету яблоне ягодной. Цветут акация, таволжник, боярышник.

Приглашаю совершить четыре прогулки в зелёную весну вдоль долины Лалетины к заповедным скалам, по пути проследить фенологические изменения и просто порадоваться красоте сибирской тайги.

Сказка Копьёвской видовки.

ПИХТЫ ЦВЕТУТ. ТАЁЖНЫЕ КЛЕЩИ

28 мая. Маятником летает мелодичное «ку-ку», ныряет в распадки, взмывает к вершинам скал. На верхушке высочайшего в округе дерева призывно поёт самец кукушки — слушать его никогда не наскучит. Возможно, потому в Китае кукушка числится в одном ряду с певчими птицами; у нас же оригинальное и незатейливое «ку-ку» испокон веков считается вещим и, конечно, придаёт сибирской тайге колдовской колорит.

Мы с мужем вышли на Копьёвскую видовку — самый западный панорамный утёс на границе ТЭРа (туристско-экскурсионного района). Со всех сторон сплошная тайга, птичьи трели, травяные запахи — люди сюда, особенно сейчас, нечасто заходят.

Внизу — ручей Столбовский Калтат, скрытый угрюмым лесом. Лишь спустившись в ложину, среди смородинника и окостенелых валежин вымотришь его родниковую змейку над светловатым гранитным песочком. Само слово «калтат» обозначает ручей в горах, сибирский горный ключ, напоминает словарь Даля. Вода в этих ручьях студёная, вкусная, живая вода.

Отсюда, с Копьёвской видовки, видны все окрестные скалы: долго можно разглядывать самый что ни на есть таёжный пейзаж, грандиозность его и сумрачность. Впереди слева направо — выступы Верхопуза и Каина с Авелем. Вдалеке громоздятся Дикарь и Крепость. За ними Развалы рассыпаны — граница столбовской интрузии. Из ближнего правого лога, и это уникально, потому что с низины, обнажение высотой девяносто метров — Манская Стенка. За ней, через ручей Бабский Калтат, торчит голова Манской Бабы на длинном тулове.

Под нами пропасть, утыканная верхушками высоченных деревьев. Внизу блестящий ворон гребёт крыльями в сторону Енисея. А в небе, вдали, под ускользящими перистыми облаками парит чёрный коршун. Гребни голубоватых хребтов теряются на горизонте... Боже мой, какое счастье видеть всё это не с фотографии!

По правую руку от нас тёмный лес, глухая тайга, как и вокруг, но справа лес непрозрачно дремуч, потому что над ним висит добела раскалённый шар, глаза отказываются смотреть в его сторону выше некой отметки, за которой хлынет в зрачки жидкий огонь. Топорчатся пиками черноватые пихты, укрылись в логу ели, а соснам здесь тесно, темно — на этом склоне они не растут. Пихтарник по-свойски раздвигают плечами вековые листьяги. Эпические их костлявые узловатые ветки убраны нежнейшим зелёным пухом. Кое-где проступают шелковистые изваяния кедров, вездесущие осины мерцают матовыми потёками, светятся охапки светло-зелёных веток столетних берёз. На всю тайгу кукует невидимая кукушка, чуть отдохнёт и опять куковать принимается.

Порыв ветра — и со сгрудившихся верхушек пихт полыхнул золотистый всполох. Подхваченный было, поплыл-полетел, да нечаянно растворился, запылив наши кружки с только что налитым чаем. Пихты цветут!

Пихта начинает плодоносить довольно поздно, лет в среднем после пятидесяти, когда дерево вымахало в высоту так, что макушку без бинокля не разглядеть. Но с высоты скал цветение можно увидеть. С нижней вершины видовки, если отвернуться от панорамы, макушка цветущей пихты — вот она, в нескольких метрах, на уровне глаз, отделённая пропастью. Тёмные ветки оторочены загнутыми вверх светлыми мужскими «щётками», на вершинных мутовках сидят желтоватые веретёнца женских цветков, высотой с половину зрелой шишки. Надо отметить, что шишки на пихте, в отличие от других наших хвойных, растут макушками вверх, напоминая свечи на канделябрах.

Поднимаясь на видовку, я подняла сбитую ветром веточку с мужскими цветками. Ветвистые её кончики похожи на колоски: между серповидными хвоинками плотно сидят пылящие «зёрна» размером с пшеничное. После пыления «зёрна» падают, и какое-то время заметны скопления на тропинках и муравейниках светло-замшевых катышков.

Где-то в логу, заваленная на живые деревья, застонала лесина — никак мертвецу не упасть, не упокоиться... Жизнь ушла, а голос остался. Заскрипела, заплакала так, что кажется, это тоскует избушка на курьих ножках, одинокая, ждёт не дожждётся хозяйку, Бабу Ягу, и та в любую минуту с посвистом может выметнуться из чащи, сидя в ступе, проворной, как ястребок.

На видовке мы осмотрелись и привычно для этого сезона с тела, одежды и рюкзаков отловили с десятков клещей. Плоские кровососы прицепились с трав и кустарников вдоль узкой тропы, а здесь, наверху, заползли с камней, хотя желанные им маралы сюда не восходят. Скорее всего, на десятки метров над травой клещи поднимаются, паразитируя на бурундуках — природных хозяевах вируса клещевого энцефалита. Бурундуки по камням лазают виртуозно, скалы для них — естественное продолжение земли.

Раздавить хитиновый панцирь таёжного клеща пальцами не получится, но их вполне можно с себя собрать и откинуть подальше. Чёрные, они хорошо видны на светлом, а оранжевые ободки на конце щитка — кожистые складки для будущего мешка под кровь — сигнализируют об их присутствии на тёмной ткани. Даже попав на тело, клещи не торопятся, ползают, выбирая для прокола понежнее участок, так что времени осмотреться и собрать паразитов обычно достаточно. К тому же их вполне можно почувствовать на теле и прекратить опасные провокации. Интересно, что у этих членистоногих нет глаз, но отменное обоняние и термочувствительность — в засаде они, трёх-четырёхмиллиметровые, чуют людей и животных за десятков метров.

От клещей неплохо защищают аэрозоли, однако самое верное средство защиты в среде обитания клещей — регулярная вакцинация: выдернул из себя «нападанца», выкинул и забыл. Впрочем, если идти на «Столбы» по широкой центральной дороге, не подходить к траве и деревьям, то «схватить» клеща попросту негде — ниоткуда они не появляются. Но возможна встреча в маршрутном автобусе, где они предаются кочевьям в поисках «более горячей крови». Попав с походной одежды в квартиру с домашними животными, клещи тут же примутся их выслеживать и потеряют к вам интерес — у животных температура тела выше, а энцефалиту они не подвержены. Ещё не менее месяца наши самые опасные членистоногие будут назойливы, но уже в июле об их присутствии можно напрочь забыть — сезон охоты половозрелых особей прекращается.

Возвращаясь, мы заскочили на утёс Моховой, что находится на той же тропе недалеко от Копьёвской видовки. Отсюда не видно скал, однако в пропасти под ногами густой океан, и волна накатывает на волну классическими силуэтами голубоватых гор. Они теряются в мареве белёсого окоёма, плывут, кажется, в бесконечность. Мне удалось насчитать с Мохового девять гигантских валов-хребтов, видимых невооружённым глазом. В этом уединённом месте хочется

раствориться в таёжной безбрежности, приобщиться к вечности и покою. И тогда уходишь совершенно счастливым, благодарным за то, что родился и выпало тебе счастье, проживая в крупном городе, в любой день любоваться сибирской тайгой.

Уже на лалетинской дороге я задержалась возле шатра цветущей черёмухи. В её ветвях колдовал соловей, сыпал трели, щелчки, раскаты, казалось, ни разу не повторялся, — так и не удалось мне разглядеть крошку-певца среди зелени и цветов, хотя был он где-то над головой.

Отцветает в долине черёмуха, но следом вскипает тоже душистая яблоня ягодная. Набрали цвет боярка и бузина. На солнечных местах покрывается ароматнейшей пеной невысокий кустарничек таволожник.

Трава вдоль дороги — в незабудковом бисере, чуть поодаль раскрыл жёлто-зелёные зонтики рослый молочай. Тут и там вспыхивают первые жарки. По берегам Лалетины, особенно на глинистых прилёках, словно меховые, серебрятся мелкие шарики — вызрела мать-и-мачеха. Доцветает калужница у воды — весь месяц была она примой долины, сияла пронзительно-жёлтым, среди зелени маячила издалека.

За кордоном Лалетино поджидала новая встреча. Муж призывно машет рукой: у дороги, прямо в кормушке, укреплённой на обрубке вывороченного со склона дерева, кормится необычная гостья, напоминающая домашнего хомячка, — полёвка лесная. Симпатичный рыжеватый зверёк, тонированный в цвет лесной подстилки. Необыкновенно многочисленный грызун, но его редко удаётся понаблюдать, обычно они осторожны — впервые встречаю полёвку в кормушке, да ещё среди бела дня. Полёвки — ночные животные и кормятся тоже ночами; видимо, близость лакомства поборол страх. Она сидела комочком на задних лапках, спешно жевала жёлтые зёрна пшена. Вокруг лежали семечки подсолнуха, но мышка выбирала именно злаки. Странная полёвка, привыкшая к людям, — мы на расстоянии пары шагов спокойно стоим, она не убегает, только не забывает прислушиваться к дороге. Всегда забавно смотреть, как зверюшка питается, а ещё хотелось увидеть, какой у неё хвостик. Но надвигалась группа громогласных туристов, и, не выдержав какофонии, полёвка шмыгнула в норку под этот же корень, мелькнув лысым, в половину длины тела, хвостом.

Что ж, сбежала... Теперь долго её не дожидаться, надо идти, но я как следует рассмотрела пень: молодая лиственница, в диаметре с четверть метра, пострадавшая, видимо, от последнего снеголома — свежий спил. Видать, завалили лиственку упавшие выше по склону берёзы. Половина корня осталась в земле, но две уцелевшие нижние ветки озеленились хвоей. Мужественное дерево — даже в таком инвалидном состоянии продолжает жить.

Подходит к концу прогулка, вот и парадная, красиво развёрнутая лестница, высоко над землёй, на винтовых сваях. Над головой

в полнеба страусиное, с изгибом, перо с пышными бородками. Пока шагала по лестнице, любуясь каскадом свежих листьев берёз, черёмух, акаций, яблонь и американских клёнов, пробравшихся сюда из города — клёны в нашей тайге не растут, пока слушала отрывистую болтовню дроздов и пересвист пташек помельче, ветер, погоняющий облака, раскрутил и растащил небесное перо. А здесь, у лестницы, лишь листочки слегка колышутся в солнечных струях.

Поймала себя на мысли: «Какое счастье, что я такая счастливая!»

ЛЕТО ЛОМАЕТ ЛЕДЯНУЮ ИГЛУ

29 мая. Ушла большая вода.

Ледяной лоб над основанием старой огромной ветлы, что перед кордоном Лалетино, давно треснул, поплавился, оставив напоследок битые серые скорлупы: в этом месте зима последней покидает долину — лето незаметно ломает ледяную иглу. И Лалетина, в берегах, густо прошитых пронзительно-жёлтыми цветами калужницы, окутанная белоснежной чарой черёмух и диких яблонь, вливает в океан бушующей зелени!

Даже прибрежные кочки, ликуя, цветут! Сказочно-стройные скирды, они топорщатся щёткой остро-зелёной осоки, цветущей магически-декоративно. Из углистых придаточных колосков пробиваются нежные белоснежные пестики, над ними, с таких же чёрных колосков покрупнее, обильно свисают перламутрово-палевые нити тычинок. Поодаль папоротники идут в рост: разворачивают сочные улитки свёрнутых листьев.

Лалетина в эту пору питается не столько родниками, сколько обильными осадками. Радостная, гурлит водопадами, перекатами с пузыристыми бурунами. Со всей долины стекаются к ней шёпоты лесных духов — тянет по невидимой трубе утробный глухой гул, гипнотический, мелодичный, в котором будто всплывает бубнящий голос радио за стеной квартиры из далёкого детства. И словно из-за стекла проникают в музыку речки птичьи трели.

А в это время у Чёртова пальца стрижиный пир — вернулись стрижи из далёкой Австралии! С пронзительным писком снуют среди хребтов, высоко над зелёными берёзами. Кто-то взмывает до ватных туч и кажется крапункой, иные ныряют ниже, легко меняя направление полёта.

Среди неугомонной мелкоты молчаливо парит царственный коршун.

ЦВЕТУТ КУСТАРНИКИ! МАРЬИН КОРЕНЬ ЦВЕТЁТ!

1 июня. Акация в заповеднике расцвела! Милые, знакомые с детства (акация всегда росла и, пускай реже, всё ещё растёт в старых дворах Красноярска) жёлтые цветки с забавными ушками и бородками, свисающие на длинных цветоножках с умеренно-колючих оливковых ветвей. Деревце по-научному красиво называется карагана древовидная,

относится к семейству бобовых — его плоды, узенькие стручки, тоже диковинные «штучки», особенно для ребятишек. И свистульки их них получаются звонкие, и рогатки стручков, расстреляв бобы, без всякой плойки, сами собой, закручиваются ровненькими спиральками.

Склонам, осыпям и скалам карагана придаёт особый приключенческий колорит и зимой, и летом. За этот кустарник можно смело, в случае чего, невзирая на колючки, цепляться при подъёме и падении — он крепкий и гибкий и неожиданно цепко сидит в каменистой почве.

Матовые цветки акации — на это стоит обратить внимание, чтобы дополнительно восхититься, — пронзительно-жёлтого цвета! Остальные таёжные пышно цветущие деревья и кустарники — черёмуха, яблоня, боярка, рябина, таволожник — радуют нас исключительно белыми цветками. Жимолость цветёт жёлтым, но цвет её приглушённый, пастельного оттенка, цветки прелестны и изысканно ароматны, однако заросли дикой жимолости встречаются вдоль туристических троп заповедника нечасто. Конечно, незабываемы дикая роза и скромных размеров редкие кустики волчьего лыка, щедро благоухающие ярко розовыми цветками.

Тёплый ветер в логах и в долине сдувает рыхлую пену черёмухи. В его душистые струи уже вплетаются свежие ноты яблони ягодной и таволожника.

Невысокий густой кустарник редкой декоративности — спирея, по-местному — таволожник, — с удовольствием «гуляет» по солнечным склонам, цветущий, снежными барашками пасётся у прогретых подножий, по дернистым полкам и трещинам добирается до самых вершин заповедных скал. Только-только начали раскрываться бутоны — молочные бусины — на его отдельных кустах, уже унизанных гирляндами свисающих колокольчатых цветков княжика сибирского — нежной таёжной лианы, трепетной, словно длинные четыре её лепестка изготовлены из воздушной папиросной бумаги.

Однако некому в тайге сравниться с диким пионом — цветущим марьиным корнем. Он же — пион уклоняющийся, он же — пион необычайный. На иных склонах в это время встречаются редкой роскоши заросли, можно насчитать десятки цветов и сбиться со счёта! Тут и пурпурные шары плотных бутонов, и приоткрытые чашечки, и роскошные, до десяти сантиметров в диаметре, махровые лепестковые чаши всех оттенков розового с золотой бахромой внутри. Ни с чем не сравнить таёжный пион, только с ним самим, как и загадочный его аромат — таинственный, женский, немного печальный.

Из-за своей прелести дикий пион стал повсеместно редок, занесён в Красные книги всех уровней и, безусловно, в тайге, даже не заповедной, подлежит лишь любованию. Не устаю восхищаться тем, что мы можем наслаждаться этой красотой в непосредственной близости, гуляя по экологической тропе заповедника. Вокруг распевают

птицы, тут же журчит, мило лопочет Лалетина с заводами, белыми от лепестков черёмухи, пролетая, куйлюкает иссиня-чёрный ворон, где-то кукует кукушка — рай земной, не иначе... Идёшь по тропе и любишься полянами, усыпанными мелочью незабудок, жёлто-зелёными соцветиями молочая на мясистых стеблях, дружной синей медуницей и первыми жаркáми. А по склонам — пионы, пионы, пионы... Идёшь — и обо всём забываешь, кроме прекрасного.

Тёмные лапы пихт и ёлочек удлинлись яркими «пальцами» — фишашковыми гребешками и кисточками будущих порослей лета.

Расцветает пушистыми зонтиками боярышник. Удивительны на его ветвях длинные, не менее двух сантиметров, крепкие колючки — видоизменённые побеги. Серьёзные колья... Невольно вспоминается колючая проволока — «побеги» боярышника утыкают ветки тоже под прямым углом. Всплывают картинки про птицу сорокопуга, что на эти колючки птенцов и мышей накалывает.

Но соцветия боярышника в обрамлении резных листьев напоминают пушистые тарелочки. Белые цветки с круглыми лепестками словно бордовым карандашом обведены вокруг сердцевины и припорошены тёмно-красными тычинками-песчинками. Не стоит пытаться получить наслаждение от аромата — у цветов боярки, как и рябины, запах специфический, резкий, неожиданный. Как тут, глядя на очаровательное деревце, не вспомнить голос павлина?!

В это время стоит обратить внимание на свидину. Она ещё не цветёт, но именно сейчас хорошо заметно, что её молодые ветки, одетые листьями и бутонами, имеют оливковый цвет, вырастая из красных ветвей, — разве не чудо, что кора кустарника меняет окраску?!

Желтеет зелень хохлатки, готовится уснуть до новой весны — пять недель она живописно цвела в долине. А первоцветы-ключики до сих пор выбираются из-под земли, не устают отмыкать лето.

Наступает пора цветения поздней весны — это уже не ковёр по исподу земли, это клумбы над травами. Цветы второй волны имеют крепкие стебли, да и скромными их не назовёшь — чистые, яркие цвета украшают тайгу.

Дождь. Яблони и жаркí

3 июня. Кто же не вспомнит эти беленькие цветочки с пушистыми жёлтыми шариками посредине? Увидишь лесную клубнику — и хочется улыбаться: что цветки её, что ягодки — сладкие клубочки — милой непосредственностью напоминают маленьких детей. На выходе от остановки «Турбаза» к парадной лестнице произрастает под сосёнками дружная семейка лесной клубники, и если она зацвела, то склоны в окрестностях Такмака и посёлка Базаихи тоже усыпаны цветущей «лапочкой-крошкой».

Продолжается таёжная феерия: в долину Лалетины словно с неба спустились компактные кучевые облачка — дружно расцвела яблоня

ягодная. Так красиво по-научному называется дичка-ранетка, обычная на улицах Красноярска. В последние десятилетия это деревце активно проникает в окружающие леса и превосходно в них себя чувствует. Интересно, что сибирская дичка способна выдерживать невероятные, ниже пятидесяти градусов, морозы: наша яблоня — самая зимостойкая яблоня в мире!

Именно сейчас, во время цветения, издали видны среди других деревьев многочисленные яблоньки. Особенно много их произрастает в долине Лалетины. От остановки до 2-й Поперечной это деревце столь же обычно, как и черёмуха, разве что черёмуховые заросли собрались у самой воды и по днищам логов, а яблоня чуть поодаль осваивает берега и светлые склоны смешанного леса. Теперь, когда отцвела черёмуха, долина благоухает прохладным ароматом дикой яблони.

По-разному цветут наши красавицы. Чаще всего на зелёных ветках покачиваются под ветерком белоснежные шары из пышных зонтиков цветков с крупными, по краям волнистыми лепестками. Иные яблоньки так плотно усыпаны цветками, что от листьев видны лишь острые зелёные ушки. Встречаются деревья в кружевном наряде, почти равномерно усыпанные звёздчатыми цветками. Их удлинённые тонкие лепестки не смыкаются между собой, ажурно окропляя белым зелёную крону.

Вдоль центральной дороги тянется пышный золотопенный бордюры лютика едкого, он же куриная слепота. Это забавное название, услышанное ещё в детстве нами, городскими детьми, забыть невозможно! Помню, как жалко было мне глупых кур: я представляла их объевшимися блестящего лютика — видно, он сладкий для них, как леденец. И теперь эти куры лежат в кромешной тьме лапками кверху (так мне казалось) в ожидании возвращения зрения. Лютик однолистный, невысокий весенний первоцвет, давно отцвёл и затерялся в траве, но рядом с ним пророс его кустистый собрат с более крупными цветками, такими же ослепительно-жёлтыми на солнце.

Ближе к воде, в тени, продолжает цветение ветреница енисейская, внешне похожая на лютики, что неудивительно — ведь они из одного семейства. Но ветреница енисейская — сибирский эндемик, а лютики где только не произрастают.

День сегодня пасмурный и прохладный, температура не выше десяти градусов, вот-вот зарядит дождик, однако лютики ярко сияют! И мы вдвоём с мужем, обгоняя многочисленных любителей природы, мчимся к центральным скалам, надеясь до дождя подняться повыше, подальше. Я, конечно, с интересом гляжу по сторонам, подмечаю, что изменилось вокруг.

Поднялись над травами высокие стебли сараны с послыжными пальмами-мутовками узких листьев. На вершинах их побегов угадываются бутоны цветков. Однако самое яркое обновление — россыпи оранжевых жарков, усыпающие склоны! Всегда с нетерпением

жду появления этой таёжной радости, одного из красивейших и многочисленных у нас цветов. Пышные головки жарков, по-научному — купальницы азиатской, всегда устремлены к небу! Никогда, даже под дождём, они не склоняются — неизменно оптимистический образ цветка, всем своим видом призывающего взглянуть на мир со стороны склона, где даже в пасмурный день радостно сочетаются огненно-оранжевый на изумрудно-зелёном!

На Пыхтуне задержалась пообщаться с белкой. Любопытно... Недавно на этом же месте видела белку в потрёпанной зимней шубке с пятнами бурой летней шерсти, с облезлым серым хвостом. Даже подумала, что белка эта, наверное, старая или больная. Однако скакала она резво, а других белок в тот день видеть не довелось. Сегодня по деревянному перильцу подъёма туда-сюда бегала белка, поджидая туристов с угощением: увидит и несётся навстречу, спешит проверить, что предлагают; если угощение не нравится, тут же высматривает новых «друзей» и к ним устремляется. Вот и ко мне подскочила.

Интересно окрашенная белочка: охристые плечи и шея, спинка и бёдра тёмно-бурые. Окрас напоминает скорее харзу, нежели белку, вдобавок на ушках, круглых, коротких, как у хомячка, и почти лысых, торчат три волосинки, в то время как у других белок, тех, что в долине, уши украшены длинными пушистыми кисточками. Шубка у белки полностью летняя, но сероватый хвост совсем не густой — зимний? Получается, высоко в тайге белки ещё не полиняли.

Она с удовольствием взяла изюминку, тут же, чуток отпрыгнув, на перилах принялась угощаться. Белочка, когда кушает, в отличие от бурундука, зажимает еду не пальцами, а запястьями, пальчики её с длинными (как у китайских мандаринов!) загнутыми коготками свисают вниз. Она быстро изгрызла изюмину, взяла следующую и сорвалась в лес. На высокой пихте качнулась широкая ветка — это белка с изюминой на неё прыгнула, ловко по ней, качающейся, взметнулась и исчезла среди густого дерева. А я поспешила догонять мужа — дождик уже потихоньку накрапывал. С Пыхтуна мы спустились к роднику и по узкой живописной лесной тропинке среди громадных мшистых камней поспешили ко Второму столбу. Едва выбрались на натопанную тропу, как зарядил не ливень, но частый дождь.

Пришлось срочно укрыться, благо это несложно. Выбрали удобный плоский камень с двумя огромными близко растущими деревьями, лиственницей и кедром, и устроились на корнях пить чай и слушать дождь.

Ни ветерка... Мерный стукоток капель умиротворяет. Растворяешься в нём, обо всём забывая, даже о самом себе, становишься частью природы, не думая о течении времени, напрямую во время дождя попадаешь в вечность. Главное, чтобы было тепло и сухо, и тогда не сыскать лучшего сеанса релаксации. Не зря на Востоке создаются специальные павильоны для наслаждения тембром дождя и любования падающими каплями на камни, листву, лепестки, воду...

Сидим, слушаем... Птицы не утихают, под дождевой оркестр исполняют каждая свою партию. Вдали вступила басами глухая кукушка, иногда вставляя в двусложный ритм пятикратный раскат: «ху-ху-ху-ху-ху». Прошло сколько-то времени, дождь начал заметно слабеть; смотрим — к нам за угощением скачет подмокшая белка. Конечно, оставили ей, бурундукам и птицам горстку изюма. Удивительно, но белка... совершенно серая! Лапы лишь тёмные. До середины двадцатых чисел июня в тайге длится предлетний период, когда погода ещё неустойчива, с резкими перепадами дневных и ночных температур; видимо, живущие на горах белки предпочитают до наступления надёжного тепла не расставаться с зимними «безрукавками».

Белка принялась перетаскивать изюм, к ней тут же присоединилась парочка поползней, а я рассмотрела наш «павильон», куда не долетела ни одна капля: кедр — очень густое дерево с широкой кроной, особенно такой огромный, оба этих великана возвышались метров на двадцать, не менее.

Когда-то на мшистом камне проклюнулись семечко лиственницы и припрятанный лесным жителем орех. Всходы таёжных деревьев довольствуются для начала немногим. Им не привыкать расти на камнях, питаюсь перегноем хвои, листьев и трав, настойчиво удлиняя корни в поисках почвы, а воду, как губки, им сохраняют мхи. Оба дерева с камня спустили корни, одели их наземные части корой и прекрасно выросли. Самое приспособленное дерево для такого спартанского образа жизни — кедр. Он, как гигантский спрут, способен опутывать цепкими многометровыми корнями огромные камни, отыскивая щели, через которые проникает к земле.

Наш камень, поросший, как и все вокруг камни, накипными лишайниками, вместе с корнями кое-где укрылся моховой подушкой, заваленной лесным мусором, среди которого уютно произрастают брусничник и небольшие пучки осоки. Здесь же, среди корней, пристроилась молоденькая рябинка, из-под камня ветвится куст красной смородины, уже усыпанный гроздьями зелёных ягод. Вокруг полно таких же живописных обломков скал.

Чуть повыше на этой тропе находится крупный муравейник. Замечательно, что теперь муравейники, расположенные в непосредственной близости троп, а таких муравейников несколько в туристско-экскурсионной зоне, красиво огорожены невысоким плетнём — «охранным забором», чтобы туристы огибали эти полезные общежития во время хождения по тропам. Но вполне допустимо приблизиться к муравейнику и понаблюдать за обитателями.

Необыкновенное наслаждение — после дождя почувствовать изменённое состояние освежённого леса и воздуха. «Мокрыми» оттенками обогащается всякая зелень, висящие капли придают ей объём. Воздух становится мягче, нежнее, благоуханнее.

Интересно в это время обратить внимание на цветы. Лишь лютики склонили головки ровно настолько, чтобы ни одна дождевка внутрь не попала. Остальные — пионы, жаркий, молочай и разные мелкие цветики — красиво унизаны каплями, словно хрустальными шариками и гибкими прозрачными линзами, в которых причудливо отражаются края лепестков.

Кое-где дождик сбил первые яблоневые цветы, обнажив завязи, и теперь обочины устланы лепестками — нежными, свежими, бело-снежными на жирной от перегноя чёрной земле. И нет грусти в этой картине, лишь красота продолжения жизни.

Авторы



АНДРЕЕВ АНТОН

Родился 7 апреля 1981 года в Северобайкальске — городе первопроходцев, строивших Байкало-Амурскую магистраль. В возрасте пяти лет по семейным обстоятельствам переехал в Красноярск, где больше века живёт вся родня по линии матери. С тех пор живёт здесь. Учился в школе №35 с углублённым изучением английского языка. Вместе с соседом по парте в старших классах начали публиковать юмористические заметки в местной прессе. В итоге вся жизнь оказалась связана с журналистикой. После школы — филфак КГУ, работа на радио, в газетах, интернет-агентствах, политическом пиаре. На литературу, к огромному сожалению, всегда не хватает времени: пишет рассказы, стихи только урывками.



БАБИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1954 году в Читинской области. Окончил Красноярский государственный университет в 1976-м, специальность — прикладная математика. Работал программистом в КрасГУ, директором учебного центра, руководителем web-лаборатории компании «Maxsoft». Председатель Красноярского общества «Мемориал», руководитель рабочей группы по изданию Книги памяти жертв политических репрессий. Публикуется с 1973-го. Член Союза российских писателей с 2013 года



БИРЮКОВ ИГОРЬ

Родился и учился в Красноярске (правый берег, район улицы Кольцевой). Ещё совсем «зелёным» школьником принимал участие в нескольких «сборных» чтениях, где слушал стихи и учился у красноярских поэтов Николая Ерёмкина и Сергея Кузнечихина. Окончил актёрский курс Института искусств. Местом для жизни случайно выбрал город Владимир. Служил в театре. В настоящее время — креативный директор РА. Поэтический «стаж» делится на две части, между которыми было ровно 30 лет «тишины». Победитель нескольких литературных конкурсов: журнала «Русский пионер», «Турнира поэтов-2018» на ЛитКлубе TV при Российском союзе писателей, первая премия «Поэт года» за 2018 год в номинации «Дебют», лауреат (2-е место) журнала «45-й калибр» за 2018 год.



БОГАТЫРЬ ВЛАДИМИР ЗАХАРОВИЧ

Родился в 1951 году в Киеве. Школу окончил в Москве, факультет охотоведения сельскохозяйственного института — в Иркутске. Работал госохотинспектором на Чукотке, охотоведом

в Туруханском районе. Сейчас руководитель Тофаларского заказника федерального государственного учреждения «Заповедное Прибайкалье». Страна Тофалария — его поэтическая держава, муза и вдохновение, здесь он проводит восемь месяцев в году. Член Московского отделения Союза писателей России. Автор двух поэтических книжек, изданных в Москве и переизданных в Красноярске.



ВЕРШИНСКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился 6 декабря 1953 года в селе Семёновка Уярского района Красноярского края. Окончил радиотехнический факультет Красноярского политехнического института и заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил на радиолокационной точке в Забайкалье. В 1985-м принят в Союз писателей СССР. Журналистской и издательской деятельностью занимается более 30 лет, сотрудничал в книжных и журнальных редакциях. Награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Стихи печатались во многих литературно-художественных журналах, альманахах и коллективных сборниках, переводились на английский, болгарский, молдавский, украинский, французский и другие языки. Автор шести поэтических книг, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский» (премия «Серебряный крест» по итогам конкурса московских писателей «Лучшая книга 2008–2010») и книги-исследования «Всеволод из рода Мономаха. Византийские уроки Владимирской Руси» («Серебряный крест» по итогам конкурса «Лучшая книга 2012–2014»). Живёт в городе Раменское Московской области. Член Союза писателей России.



ГАЙДУК НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился на Алтае в 1953 году. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. Российскому читателю известен как поэт и прозаик, автор книг стихов и прозы, вышедших в разные годы в нашей стране и за рубежом: «Калинушка-калина», «С любовью и нежностью», «Волхитка», «Лирика», «Святая грусть», «Царь-Север», «Избранное», «Златоуст и Златоустка», «Зачем звезда герою», «Понять и простить», «Божество пастухов и поэтов». «Для Николая Гайдука характерна пьянящая музыка простора и слова», — так раннее творчество автора оценил один из ведущих российских критиков В. Я. Курбатов. Член союза писателей России.



ГЕРМАН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Родился в городе Топки Кемеровской области 10 августа 1964 года. В 1985-м окончил Кемеровский государственный институт культуры. Работает актёром в Русском

республиканском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова г. Абакана, преподавателем актёрского мастерства в Минусинском колледже культуры и искусства, режиссёром «Домашнего театра» краеведческого музея имени Н. М. Мартыанова. Рассказы и повести печатались в журналах «Огни Кузбасса», «Дальний Восток», «День и ночь», пьесы — в журнале «Современная драматургия». Драма «Братья Шуть» переведена на татарский язык и поставлена в Оренбургском татарском театре имени М. Файзи. Мелодрама «Прости меня» имела три постановки: в Башкирском академическом театре имени М. Гафури (пьеса переведена на башкирский язык), в Крымском академическом театре имени М. Горького (г. Симферополь), в Русском республиканском театре (г. Абакан). Весной 2017-го при поддержке Красноярского представительства Союза российских писателей издан сборник рассказов и повестей «Премьера». С 2011 года состоит в Российском авторском обществе (РАО). Член Союза российских писателей.



Гуляева Ольга

Родилась в 1972 году в городе Енисейске. Окончила психологический факультет Красноярского педагогического университета. В 2010 году заняла второе место в краевом литературном конкурсе «Король поэтов», по итогам конкурса издана книга стихов «Бабья песня». В 2013 году победила в поэтическом конкурсе «Канский лёд». Дипломант в номинации «Поэзия» премии имени И. Д. Рождественского (2013). Стихи публиковались в журнале «День и ночь», коллективных литературных сборниках. Член Союза российских писателей.



Зуева Евгения

Родилась и живёт в Красноярске. Педагог, культуролог, журналист, путешественник. Победитель и участник различных литературных конкурсов. Руководитель артпроектов Агентства креативных идей и рекламных инициатив «13 параллель». Дипломант краевого литературного конкурса 2013 года на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза». Публиковалась в альманахе «Енисей», газетах «Красноярский рабочий», «Зимняя вишня», в журнале современной литературы «Процесс» (Чехия). Победитель Всероссийского конкурса книжных рекомендаций «Книжный штурман 2019» в номинации «Лучшая рекомендация художественной литературы». Дипломант международной премии в области искусства «Филантроп». Автор сборника стихов «Капли моих забот» (2014).



Калеменева Наталья Алексеевна

Родилась в 1952 году в городе Чирчик Узбекской ССР. В 1977 году окончила Казанский государственный университет (филфак, отделение журналистики). Работала в многотиражке «За регулярный рейс» (Казань), газете «Ангренская правда» (Узбекистан), в течение десяти лет была редактором

многотиражной газеты «Строитель» треста «Узбекшахтострой». Публиковалась в «Правде Востока», «Строительной газете», «Российской газете». С 1993 года проживает в Минусинске. Работала в газетах «Надежда», «Хакасия». Постоянно принимает участие в Мартяновских и Суриковских чтениях.



ЛУЗАН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

1946–2018

Родился 14 декабря 1946 года в Благовещенске. Вырос в городке Мукачево на Западной Украине. Работал матросом промыслового флота на Камчатке. Учился в Москве, был членом «СМОГ» («Самое молодое общество гениев») в 60-х. В 1970 году приехал в Норильск. Работал охотником-промысловиком на Таймыре, заведовал красным чумом. Исходил пешком весь Таймыр — от Ледовитого океана до эвенкийской тайги. Был проходчиком на норильских рудниках, обходчиком на газопроводе, диктором, журналистом, редактором издательского центра. Работая на телевидении, снял несколько фильмов. С 2000 по 2005 год — председатель Таймырского регионального отделения Союза писателей. Член правления Союза российских писателей, член Союза журналистов. Лауреат международных журналистских конкурсов в Болгарии и Китае. Публиковал стихи в краевой и местной печати, в ФРГ. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы.



ЛЫСЕНКО ДАРЬЯ

Родилась 9 сентября 1988 года в городе Абаза Республики Хакасия. С золотой медалью окончила школу, с красным дипломом — институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Работает в природоохранной сфере. Победительница межрегионального литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэтическая библиотека „Времени“» (2015). Дипломантка II международного литературного конкурса «Верлибр» (2015). Финалистка международного литературного фестиваля «Славянская лира» (2015). Публиковалась в ряде периодических изданий, журнале «Сельская новь», альманахе «Часовенка». Издано пять авторских поэтических сборников: «Дарья-птица» (2001), «Из-под ресниц твоих» (2002), «Две меня» (2006), «Графика тени и плоти» (2008), «В никуда» (2015). В 2008 году вышла первая книга прозы «Поймай мою душу».



МАМАЕВА АЛЬБИНА РОМАНОВНА

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Живёт в Красноярске.



МОНАХОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Журналист и поэт. Родился 1 мая 1955 года в городе Изюм Харьковской области УССР. Сейчас живёт в Братске. Автор более

десяти сборников стихов и прозы. Публикуется в журналах и альманахах. За серию эссе, опубликованных в «Юности», в 2006-м стал лауреатом журнала. В 2009 году за «Русскую сказку» получил национальную премию «Серебряное перо».



НЕИЗВЕСТНЫХ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1954 году в селе Ширыштык Каратузского района Красноярского края. Окончил математический факультет Красноярского госуниверситета (1977). Работал программистом на Красноярском заводе телевизоров, служил в армии. В посёлок Байкит приехал в 1979 году. Работал директором станции юных техников, и. о. заведующего районо, учителем информатики в школе и тренером по шахматам в Центре детского творчества, участвовал в геологических экспедициях. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Автор стихотворных сборников «Байкитский старожил», «Аттестат зрелости», «Алгебра и гармония», «Северная экзотика», «История любви», «Философия мелководья», «Камертон отражений», «Звенья забвенья», «Сентиментальные сонеты», «Вершина распада», «Страницы дневника», «Скальпель гротеска», книг прозы и публицистики «Школьная дюжина лет», «Дюжина праздничных дней», «Свободное плаванье», шахматных книг «Чёрно-белые игры», «Крылья шахматных мгновений», «СОТИК Каиссы», «Шахматы. Асимметрия страсти», «Вариант чёрно-белой эпохи», «Шахматы на Подкаменной», «Шахматные дебаты». Член Союза российских писателей.



НЕМЕЖИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Живёт в Красноярске, где и родилась в 1965 году. Окончила с отличием два факультета в КИЦМ (ныне ИЦМиМ СФУ) по специальностям «горный инженер-геолог» (ленинская стипендиатка, 1987), «экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в жанрах малой прозы, критики — журнал «День и ночь».



САМУЙЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Родился 5 января 1951 года в глухом озёрном краю Тверской области. В 1974-м окончил Сызранское военное лётное училище, через 8 лет уволился в запас. Работал 20 лет за полярным кругом, на Таймыре, там и начал писать. Печатался в краевом альманахе «Полярное сияние», в журналах «Природа и человек», «День и ночь», «Уральский следопыт». Издано пять книг. Сейчас в творческой работе временное затишье, связанное с болезнью.



СОЛНЦЕВ РОМАН (СУФИЕВ РЕНАТ ХАРИСОВИЧ)

1939–2007

Родился в деревне Кузкеево Мензелинского района Татарии. Окончил в 1961 году Казанский университет, в 1973 году — Высшие литературные курсы. Работал геологом в Сибири, физиком, журналистом. В 1962 году его стихи напугивали

К. Симонов в журнале «Юность». Первый сборник «Стихи» выпустил в 1964 году. В 1978 году в Москве была поставлена его пьеса «Ждём человека». Шум в годы перестройки вызвали спектакль и фильм «Торможение в небесах». Произведения переводились на английский, болгарский, татарский, чувашский языки. П. Чухрай снял фильм «Запомните меня такой». В журналах «Новый мир», «Нева», «Октябрь» публиковались повести «Свобода ночью», «ЦБ», «Иностранцы», «Вторые люди», «Жёлтый дом», «Полураспад» и др. В 1992 году стал одним из учредителей Союза российских писателей. Был президентом сибирского ПЕН-клуба. В 1993 году основал литературный журнал «День и ночь». Основатель Красноярского литературного лицея. В 2005 году — финалист премии «Русский Букер». Автор книг «Та осень» (1970), «Белая ветка» (1978), «Аэропорт „Медведь“» (1987), «Волшебные годы» (1997), «Маленькое тайное общество» (1999) и др. Похоронен в Красноярске.



ТАРКОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский поэт и писатель, около 30 лет живущий в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Родился в 1958 году в Москве. После окончания пединститута имени Ленина (отделение «География-биология») уехал в Туруханский район, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таёжных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Лауреат ряда литературных премий: журналов «Наш современник», «Роман-газета», Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого и других. Член Союза писателей России.



ТЕПЛИЦКИЙ ВИКТОР

Родился 1 мая 1970 года в Красноярске. Учился в СТИ (ушёл с пятого курса). В 1992-м женился. В этом же году принял крещение. В 1993-м вошёл в литературное объединение молодых писателей и поэтов под руководством поэтессы Аиды Петровны Фёдоровой. В 1994-м рукоположен в сан диакона в Свято-Никольском храме Красноярска. Через год рукоположен в сан пресвитера. До сих пор священник Свято-Никольского храма. Трое детей. Издал стихотворные сборники, книгу стихов и прозы «Ванечка», книгу прозы «Разговор с Птицей». Публикации в журналах «Старое и новое», «День и ночь», «Город детства», «Человек на земле», «Алтай». В 2005-м — лауреат премии имени В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» за драму «Королевское сердце». Окончил филологический факультет КГПУ имени В. П. Астафьева. Член Союза российских писателей.



ТРЕТЬЯКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

1939–2019

Родился 8 марта 1939 года в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Учился во ВГИКе и Литературном

институте имени А. М. Горького. Автор 12 сборников стихов. Печатался в журналах и коллективных сборниках Москвы и других городов России. Лауреат Пушкинской премии Красноярского края (1999). Автор слов официального гимна Красноярска. Член Союза писателей России, действительный член Академии российской литературы.



ХИНОВКЕР ЕКАТЕРИНА

Живёт в Красноярске. В 2018 году стала «Королевой поэтов», по результатам конкурса в рамках книжной кассеты «Поэзия новой волны» выпущен сборник ранних стихов «Болезни роста». При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и техническом содействии Союза российских писателей в 2019 году издан сборник стихов «Кин[æ]стетика».



ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Родился в 1939 году в селе Таскино на юге Красноярского края. В различных вузах окончил с отличием факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, журналистом, редактором Красноярского книжного издательства. В 2003–2007 годах возглавлял Красноярское региональное отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, изданных в Москве и Красноярске. Печатался во многих журналах СССР и России. Заслуженный работник культуры РФ. Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат региональных и российских журналистских и литературных премий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётными знаками «300 лет российской прессы», «100 лет М. А. Шолохову», «Золотое перо» и др. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Живёт в Красноярске.



ЯВОРСКАЯ УЛЬЯНА

Родилась 2 апреля 1967 года в Красноярске. По образованию физик. Первое стихотворение написала в 8 лет. Первая книга вышла в 2006-м. Всего три авторских сборника и многочисленные публикации в сборниках и журналах. Автор текстов множества исполняемых на различных фестивалях песен. Не один год сотрудничает с детской студией мим-театра «За двумя зайцами». Является неизменным ведущим поэтической площадки Дома работников просвещения. Дважды лауреат второй степени и один раз — первой конкурса имени Игнатия Рождественского в номинациях «Поэзия», «Видеопоззия», «Я себя не мыслю без Сибири». Член Союза российских писателей.

